ISSN 0012-6756



Дружба народов

11/2026

Дружба на вырост

В номере:

Самые детские книжки

«Маленькая я хотела прочесть вообще всё» … «Кто-то скажет — не детское это чтение» … «У меня была не “книга”, а книжный шкаф» … «”Трёх мушкетёров” я сначала слушал с голоса тёти Лёли» … «Именно дедушка принёс мне первую часть “Гарри Поттера”» … «Как я рыдал из-за “Теремка”»… Книгу своего детства в рубрике «Только детские книги читать…» вспоминают Евфросиния КАПУСТИНА и Сергей ШАРГУНОВ, Наталья ИВАНОВА и Василий НАЦЕНТОВ, Александр ЛЮСЫЙ и Андрей ПЕРМЯКОВ, Александр НИЛИН и Ирина ЧУДНОВА, Михаил Павловец и Анна ЛУЖБИНА.

Не только сказка

Повесть Елены БОДРОВОЙ «Тот самый пакет с грёзами» — городская сказка про ангелов, отправленных на Землю на перевоспитание за какую-то оплошность, чтобы они поняли, что «люди не всегда рады, когда исполняются их желания, потому что их исполнение таит в себе не только счастье, но и страдание». Неискушённые в земной жизни, ангелы то и дело попадают впросак, и если бы не подросток Ольга… Эта повесть о волшебстве первой любви, которая не случается по заказу, и о том, что над будущим, грезящимся в пятнадцать, надо уже начинать серьёзно работать. Ещё в разделе прозы — короткий, пронзительный рассказ Романа СЕНЧИНА «На родину»; светлая история первой любви юных героев, рассказанная Ириной КРАЕВОЙ; опыт взросления вьетнамской девочки по имени Россия из рассказа Арины ОБУХ, у которой «душа была русская, страдающая, достоевская»…

«А Пушкин мог, а Пушкин успевал!..»

Восторженный гимн Пушкину, который «наше всё», открывает подборку молодой поэтессы Алины МИТРОФАНОВОЙ. Константин КОМАРОВ продолжает портретную галерею из цикла «Стихи о русских поэтах». Детские верлибры для взрослых Лилии ГАЗИЗОВОЙ похожи на «летучую, склонную к улыбке и к игре прозу». В лирике Елены СЕВРЮГИНОЙ «Ребёнок в небе рассмеётся» много света и полёта. Тема философской поэзии Ивана МАКАРОВА — события современности, и поэт улавливает в них перекличку с библейским псалмом: «На реках Вавилонских весна,/ На реках Вавилонских у нас».

Игра по правилам

Директор инновационного центра «Технологии современного образования» Дмитрий РУБАШКИН констатирует: «У каждого времени свои детские вопросы. <…> Международные исследования подтвердили, что значительная часть детей на рубеже веков стала спрашивать “зачем?” гораздо чаще, чем “почему?”», — и предлагает свою версию причин и возможных последствий.

«Дело не в том, где и кем ты будешь»

Лев Аннинский писал о прозе Владимира Курносенко: «Из ветра — соткать: покров, укрывище, крышу. Из безумия — разум. Из безбожия — Бога. Из ничего — всё. Литература всё может?..» А что из этого дед может передать внуку? «Хочется быть тебе полезным, но — как? Я единственное что могу, — это советовать тебе какие-то книги… могу отвечать на вопросы, которые у тебя есть. Однако это если есть в том живая надоба…» В рубрике «Культурный код» — письма Владимира КУРНОСЕНКО внуку Роману.

Дружба народов

11'2026

Литературно-художественный и культурно-просветительный журнал Литературного института имени А.М.Горького

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
123104, Москва,
Тверской бульвар, д. 25, стр.1,
журнал «Дружба народов»
Телефон: 8(495) 694-09-57

E-mail: dn@litinstitut.ru
Сайт журнала: http://дружбанародов.com

Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации товарного знака
№ 288681
Зарегистрировано
в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.09.2026.
Подписано в печать 22.10.2026.
Выход в свет 19.11.2026.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ.л. 22,4. Усл.кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд.л. 21. Заказ
Тираж 1200 экз. Цена договорная.

Редакционный совет

Председатель Редсовета Алексей ВАРЛАМОВ

Евгений АБДУЛЛАЕВ

Сергей БИРЮКОВ

Сергей ДМИТРЕНКО

Илья ОДЕГОВ

Вера ПАНТЕЛЕЕВА

Ренат ХАРИС

Людмила ЦАРЁВА

Александр ЧАНЦЕВ

Редколлегия

Главный редактор Максим АМЕЛИН

Шеф-редактор Сергей НАДЕЕВ

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Ольга БАЛЛА

Ирина ДОРОНИНА

Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

16+

СОДЕРЖАНИЕ

«Только детские книги читать...» *В заочном круглом столе участвуют: Наталья ИВАНОВА, Евфросиния КАПУСТИНА, Анна ЛУЖБИНА, Александр ЛЮСЫЙ, Василий НАЦЕНТОВ, Александр НИЛИН, Михаил ПАВЛОВЕЦ, Андрей ПЕРМЯКОВ, Ирина ЧУДНОВА, Сергей ШАРГУНОВ* **3**

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алина МИТРОФАНОВА. Время падения снега. *Стихи* **23**
Елена БОДРОВА. Тот самый пакет с грёзами. *Повесть* **28**
Лилия ГАЗИЗОВА. И я стала облаком. *Детские верлибры для взрослых. Вступительная заметка Алексея Алёхина* **89**
Роман СЕНЧИН. На родину. *Рассказ* **94**
Елена АЛБУЛ. Рассказы **100**
Константин КОМАРОВ. Из цикла «Стихи о русских поэтах» **129**
Инна КАБЫШ. Замыслил он побег. *Рассказы* **135**
Елена УСАЧЁВА. На площади стоял памятник. *Рассказы* **150**
Елена СЕВРЮГИНА. Ребёнок в тебе рассмеётся. *Стихи* **166**
Ирина КРАЕВА. Сказка **169**
Анастасия ПОЛЯКОВА. Лилии в инее. *Рассказ* **177**
Арина ОБУХ. Петербуженка по имени Ленинград, или «Рай — это безопасное место. На Земле я такого не знаю». *Рассказ* **187**
Иван МАКАРОВ. Не пройдёт и не забудется. *Стихи* **192**

ПРОСТО ЖИЗНЬ. XX ВЕК

Екатерина БУШУЕВА. В моей памяти навечно... ..... **195**

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Дмитрий РУБАШКИН. Алёша Почемучка и Алёша Зачемка. *Размышления пожилого человека о детях, детских книжках и детских вопросах* **208**

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Сергей ДМИТРЕНКО. «Салтыкиада. Вятские картинки» Максима Наумова. *К 200-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова (Щедрина)* **222**

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Владимир КУРНОСЕНКО. Письма внуку Роману **225**

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Какая нам разлука предстоит (*Д.Бавильский. «Лето нашей осени»*) **242**

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. «Попёнок зовёт его тятей...» **247**

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Мойры и мы **252**

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Максим НАУМОВ. «Салтыкиада». *Иллюстрации*

© «Дружба народов», 2026

«Только детские книги читать...»

В заочном круглом столе принимают участие:
Наталья ИВАНОВА, Евфросиния КАПУСТИНА, Анна ЛУЖБИНА, Александр ЛЮСЫЙ, Василий НАЦЕНТОВ, Александр НИЛИН, Михаил ПАВЛОВЕЦ, Андрей ПЕРМЯКОВ, Ирина ЧУДНОВА, Сергей ШАРГУНОВ

В 2015 году мы впервые попросили известных прозаиков, поэтов, критиков, переводчиков, драматургов из России и ближних и дальних стран поделиться своей историей детского чтения и рассказать о том, что читают их дети и внуки. Со временем стало ясно, что литературный сюжет перерос в разговор о книгах и жизни. В нынешнем году число участников перевалило за полторы сотни.

Наталья Иванова, литературный критик, первый зам. главного редактора журнала «Знамя» (Москва)

Первые, любимые

Первой моей книгой стали «Приключения Буратино» Алексея Толстого: радиопередача, услышанная по чёрному репродуктору, всегда включенному, — наверное, это была привычка ещё с военного времени.

Книжный шкаф в комнате, где я за этим шкафом спала, был наполнен классикой. Помню толстенный, на плохой серой бумаге и в картонной обложке, том Пушкина, куда поместилось чуть ли не собрание сочинений, — но детских книг там не было.

Родители детских книг не покупали — не до того им было: мама рассказывала, как она рыдала, когда сгорела над газовой плитой папина белая единственная сорочка — он каждое утро надевал в редакцию «Комсомолки» свежевымытую.

Зато был радиотеатр для детей.

И я полюбила неправильного Буратино навсегда — его свободное, скажем так, поведение, — а вот правильная Мальвина, посадившая его в каморку, вызывала у меня неприязнь, крыса Шушара — брезгливость, режиссёр театра кукол диктатор Карабас-Барабас — ярость.

Несколько десятилетий спустя я остановилась с подругой на вилле в Форте-деи-Марми и там среди книг обнаружила источник — «Приключения Пиноккио». Немного читая на итальянском, разобралась — но не очаровалась. И Буратино, проколовший острым деревянным носом холст-очаг, навсегда остался примером не очень примерного, зато очень обаятельного поведения.

Но дома в шкафу, на самой нижней полке, таилось именно книжное чудо — Гоголь. Первый том его шеститомника 1950 года, к юбилею, издания — первая книга, которую я начала читать самостоятельно, а потом всю жизнь дочитываю и перечитываю. Гоголь — мой талисман: ответом на вопрос о Гоголе определилась моя профессиональная судьба, всё-таки русская, а не английская и прочая иностранная литература.

Кроме «Ночи перед Рождеством», «Майской ночи, или Утопленницы», «Вечеров накануне Ивана Купалы», «Сорочинской ярмарки», «Страшной мести», при воображении реалий соединяющих в детской душе сладкий ужас с ощущением невероятного полета, там на мелованной бумаге были воспроизведены в качестве иллюстраций замечательные акварели и картины Крамского, Репина, литографии Трутовского, рисунки Маковского... рассматривать могла бесконечно, вплоть до крошечных деталей. И внешне Николай Васильевич Гоголь запечатлен в зрительной моей памяти навсегда таким, как на портрете работы А.Иванова 1841 года, открывающем этот том, — молодым и чуть улыбающимся.

Годы издания таинственно и даже как-то мистически, по-гоголевски, путаются. Пятый том помечен 1949-м, а первый и последний — 1950-м.

По всей видимости, шла бурная подготовка к юбилею Гоголя — его торжественно отметили в 1952-м, впрочем, это был юбилей смерти, но во времена сталинизма, как зрелого, так и позднего, именно их и отмечали — например, столетие гибели Пушкина в 1937-м. (подготовка академического собрания, пленум Союза писателей с разгромом на нем Пастернака и прочее). Потом, когда я переехала жить с родителями, заметила, что у них на книжном стеллаже — то, что они могли вместить в двенадцатиметровую комнату, — стоят два бюстика: Пушкин и Чайковский. Гоголь нашелся только книгами на полке. Кстати, о детстве: типографский запах напечатанных книг сопровождал меня каждый отцовский выходной, потому что он брал меня на Кузнецкий мост, в магазин «Подписные издания». Там выкупал очередные тома классиков (родители постоянно пополняли библиотеку), продавец, понимая свою значимость, торжественно заворачивал тома в крафтовую бумагу, завязывал веревочкой, а дома отец их так же торжественно распаковывал. Не разрывая, но расправляя, складывал бумагу. Рассказывая при этом, как в его детстве отчим по вечерам собирал детей (шесть братьев и сестер) и при свете керосиновой лампы им читал.

И отец так же читал мне по вечерам, когда я была больна и в постели, рассказы Толстого о собаке Бульке — специально для меня был куплен толстовский «Круг чтения». *(Я маленький, горло в ангине...)*

К юбилею смерти андреевский памятник трагическому Гоголю задвинули с глаз долой во двор особняка на бульваре, где Гоголь скончался, — а на его место водрузили победную колонну, увенчанную бюстом Гоголя: «Николаю Гоголю от советского правительства». Но мой отец водил меня всё-таки к выдающемуся прежнему памятнику, чтобы запомнила Гоголя таким.

Моё личное перестроечное время началось с колонки в газете «Московские новости» — «Два Гоголя». Колонка произвела впечатление на славистку из Швейцарии, с которой я потом познакомилась в доме у Натана Эйдельмана, где собрались за ужином и чтобы поговорить, разные прекрасные люди — от Мераба Мамардашвили до Жоржа Нива. С которой спустя много лет мы поехали отдохнуть в Форте-деи-Марми. Где на столике в гостиной обнаружились «Приключения Пиноккио».

Собрание сочинений Гоголя в мраморных суперобложках осталось в родительском доме — и я ностальгически приобрела незабываемый шеститомник в букинистическом подвале книжного магазина «Москва», что на Тверской.

Евфросиния Капустина, поэт, прозаик, переводчик
(деревня Лопшеньга Архангельской обл.)

«Кто знает, на какой именно странице они встретят себя»

Маленькая я читала много, очень много. Не потому что была такой уж послушной умницей или шибко умной, нет. Скорее из протеста. Книги в моём детстве отчего-то почти все попадали в статус «запрещёнки». За обнаруженную «не ту» книгу немедленно следовало наказание: мне или книге. Помнится, случайно найденный под моей кроватью томик Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» был сожжён батей в печке.

«Запрещёнку» не хранят на книжной полке, её вообще не носят домой. Книги я проглатывала там, где они попадали мне в руки, там, где меня не могли с ними поймать: в дровеннике, в поле, на школьных переменках, в столовой вместо обеда, на дурацкой алгебре... Именно проглатывала, не читала, нет. Потому что знала: другого времени прочесть у меня не будет, нужно пользоваться моментом.

Если бы существовал диагноз «расстройство книжного поведения», мне бы его точно поставили. Ну, а чем ещё, как не расстройством, можно назвать

явление, когда в голову одного человека складируется буквально всё без разбору? В моей неразборчивой детской, а потом и подростковой голове приходилось уживаться сибирским миссионерам и де-садовским содомитам, детям капитана Гранта и Тимуру вместе с командой, солдату Тёркину и графу Безухову, поморскому кормщику и японскому студенту... И пугающе прозвучит, но за годы они как-то сумели научиться договариваться и мирно жить вместе.

И всё же, если выделить одну книгу... Правды ради, запрещалось не прям уж всё. Из всего, что было признано допустимым к детскому чтению, я чаще всего брала «Апостол». Когда-то синий, с вышарканной уже почти напрочь краской и тоненькими бороздками, в которых когда-то были золотинки росписи. Брала его тоже из какого-то своеобразного протеста, потому что наиболее полезным чтением признавалось Евангелие... Брала и выискивала строчки, которые чем-то гулким и очень понятным отзывались внутри.

Егда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в безсмертие, тогда будет слово написанное: пожерта бысть смерть победою. Где ти смерте, жало; где ти аде, победа?

Несть иудей, ни эллин, несть раб, ни свободь, несть мужеский пол, ни женский, вси бо вы едино есте о Христе Иисусе.

Егда бех младенец, яко младенец глаголах, яко младенец мудрствовах, яко младенец смышлях: егда же бых муж, отвергох младенческая.

Кто-то скажет — недетское это чтение. И будет прав. Я скажу, что, когда ты старшая из девяти детей, — твоё детство заканчивается сильно раньше обычного. И буду тоже права.

Я вычитывала вязописные строчки «Апостола», вычитывала, сама ещё не догадываясь, что в их кажущейся строгости отыщется ключ к моей словесной свободе. Я ещё не знала тогда, что буквально через несколько лет в деревне, где мы жили, закроют школу. Здание закроют, окна разобьют, а среди брошенных на полу книг отыщется «Мост на Дрине» Иво Андрича. На оригинальном сербском. Я открою, и всё в этой книге: от букв до смыслов — покажется мне понятным, знакомым и целиком моим. Всё уляжется в мою голову какими-то не хаотичными уже, а аккуратными штабелями, всё вплоть до ужасающей сцены средневековой казни. Я ещё не знала тогда, что позже столь же моей окажется книга «Степные боги» Андрея Геласимова, что я буду понимать и маленького хулиганистого русского Петьку, и собранного японского военврача Хиротаро. Тем более предположить не могла, что стану говорить на сербском, что стану работать с врачами в гуманитарных миссиях, что вообще стану кем-то кроме шевелящегося испуга.

Маленькая я не знала, что вот это книжное «мешано месо» приведёт меня к изучению языков, пониманию самых разных людей и, как следствие, к социальной журналистике. Маленькая я просто хотела успеть прочесть вообще всё, что попадало к ней в руки. Даже если оно на чужом непонятном языке.

Маленькая я вглядывалась в полинялый «Апостол», ещё не зная наверняка, что откуда-то из него глядит на меня настоящая подросшая я... та, которая уже умеет выбирать подходящие книги, подходящую жизнь, подходящую профессию.

У выросшей меня пока ещё нет детей. Но, когда будут, пусть читают всё, что попадёт им в руки. Даже если диагноз «расстройство книжного поведения» официально появится, пусть. Кто знает, на какой именно странице они встретят себя.

Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.

Вот и стою. Порой пошатывает, но всё ж таки стою.

Анна Лужбина, прозаик (Москва)

Обида на Александра Волкова

Мне повезло родиться в «читающей» семье. Книг было много дома — бери всё, к чему тянется рука. Книг было *очень* много у бабушки с дедушкой — под них была выделена целая комната. И каждый раз, когда я виделась с дедушкой (достаточно часто), сразу же после приветствия он задавал мне один и тот же вопрос: что ты сейчас читаешь?

Помню, как этот вопрос порой раздражал — особенно, когда ответа не было. Но сейчас понимаю, насколько удобна такая со-настройка, особенно для людей разных поколений, пусть и родных. И то, о чем я вспоминаю сейчас с благодарностью, — после любого ответа оценки моему выбору не давали.

Я могла ответить, что нашла «школьный» детектив или, наоборот, что читаю книгу, вызывающую одобрение взрослых. Вероятно, в этом самостоятельном выборе и формировались вкус и понимание, что книги могут быть разными, и это — прекрасно.

Именно дедушка был тем, кто принес мне первую часть «Гарри Поттера» тогда, когда никто ещё о нём ничего особо не знал. Книга только-только вышла на русском языке. «Кажется, это что-то важное», — сказал он и, кстати, тоже

потом прочитал с удовольствием. Ему не помешали книжные стеллажи с философией и сложной литературой «для продвинутых».

Я очень хорошо помню время, когда запойно прочитала всю «базу»: Конан Дойля, Жюль Верна, Александра Дюма. Такой же «базой» стали мифы Куна — то, без чего, скорее всего, читающий ребенок моего поколения и шагу ступить не мог. Чуть позже появился Толкин — кажется, не меньше года я читала только его: заканчивала и начинала снова.

Думаю, в процессе взросления каждому писателю даются книги, включающие внутреннюю лампочку: «О, значит, и так тоже можно писать!» Это такой острый инструмент, который находится неожиданно, но помогает развязывать руки. На фоне скучной реальности — со школой, кружками, домашними заданиями, экзаменами — книга показывала, что может быть по-другому, потому что оказывалась живее.

В подростковом возрасте место Толкина занял Милорад Павич. Далее — Саша Соколов и многие другие, уже «взрослые» и кажущиеся странными, непохожими на привычное книги.

Но если снова вернуться назад во времени и всё-таки выделить главную историю детства, то для меня это цикл книг Лаймена Фрэнка Баума о стране Оз.

С этими книгами связано дачное лето, приятное безделье, свобода, когда времени так много, но и несвобода, потому что ещё маленький... Рефлексия: при рождении принцесса Озма была превращена злой колдуньей в мальчика. Я смотрела на старшего брата и думала: как бы он отреагировал, если бы узнал, что на самом деле он — волшебная принцесса?

Читая Баума, я впервые поймала себя на выглядывании куда-то за границы сюжета. Если раньше всё читалось только ради истории, то здесь я хорошо помню, как на некоторых диалогах я начинала думать по-новому. Училась видеть дополнительные смыслы, ловить сходства с нашим миром, находить скрытый юмор...

И многие герои — которые кажутся не теми, кем являются, — тоже остались в памяти. И это несмотря на то, что Баума я читала лет тридцать назад! Например, помню Человека с косичками — великого изобретателя, который всю жизнь занимался производством дыр для швейцарского сыра, пока не собрал их все в кучу, одна на другую, и не провалился в центр земли. Теперь в волшебной стране у него маленький заводик, в котором он производит «разнообразные трепетания для флагов и праздничных украшений, а также шорохи лучшего качества для дамских шёлковых платьев». Помню здравомыслящую и рациональную курицу Биллину, педанта Жука-Кувыркуна (обычного жука, которого увеличили до размеров человека), Тыквоголового Джека, трогательные и неловкие К*о*злы... И так далее, и так далее.

Ещё я хорошо помню свою немного наивную, но совершенно искреннюю обиду на Александра Волкова и, по совместительству, на всех, кто знал девочку Элли, но не знал девочку Дороти.

Как можно взять чужую историю и просто переписать её как свою? Зачем вообще писать историю, если её уже написал кто-то? Зачем писать книгу, в которой уже знаешь, что будет с героем, ведь и писать куда интереснее, если не знаешь, чем кончится?

И сразу же противоречие: у Баума так много книг, почему бы не переписать сразу все?

Александр Люсый, д. филол. н., проф. Института кино и телевидения (ГИТР), литературный критик (Москва)

Много ли молодому человеку книг надо?

В доме было очень мало «чтива». Папа, прошедший войну фронтовой фельдшер, после лечения от ран сначала попытался стать историком, а потом вернулся в более гостеприимную для него медицинскую сферу. Выставленные в открытый доступ книги преимущественно были учебниками по истории и по разнообразным сферам медицины, читать которые мне, я поначалу согласился с этим, было «рано». Из случайных книг под руку попались толстенные «Сказки Верховины» и тоненькие китайские сказки, скорее завораживающе пугающие, чем увлекательные.

Мама перед сном читала какие-то толстые потрепанные тома, которые хранила под подушкой. Однажды я увязался за ней в сельскую библиотеку, и первое, что попалось на глаза среди развала находящихся в постоянном обороте книг, были тоже в весьма бывалой обложке «Русские богатыри» — адаптированный для детского восприятия былинный эпос, оживляющий наличествующую дома директивную историю. Я получил право на самостоятельные визиты в библиотеку, где, впрочем, терялся с выбором, как в лесу.

Следующим мощным импульсом к самостоятельному чтению стало премирование за отличную учебу в первом классе отнюдь не только детским, маленьким сказочным романом Феликса Зальтена «Бемби». Вот когда я впервые над вымыслом слезами облился, настоящими, в этой тонкой и увлекательной истории взросления оленёнка, как деликатно преобразовал сюжет применительно к «русскому лесу» переводчик. У автора-то показан мир швейцарских косуль, а у нас Король-наставник, появляющийся в решающие моменты судьбы Бемби, превратился в огромного, как Гулливер, оленя, — в частности, обучившего героя в случае ранения ходить по кругу, чтобы сбить с толку охотников. Какие же они молодцы, учителя именно начальной школы.

Время от времени в гости приезжала старшая мамина сестра тётя Лёля, «гастролёрша», как её величала мама. Рано став вдовой, она подолгу жила

у сестёр и у взрослых уже детей, привозя с собой то книги, то рассказы о них. «Робинзона Крузо» она пересказала так увлекательно, что чтение первоисточника скорее разочаровало. А вот сборник повестей Аркадия Гайдара («Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда») она вручила молча, и это стало увлекательным чтением. Там ведь по-своему представлены варианты становления оленёнка оленем, если удавалось избежать отстрела.

С программой чтения в средней по всем параметрам школе отношения были уклончивыми. Куда интересней оказались уроки истории.

Однажды на горизонте мелькнул и свой прохожий-король, наш временный квартирант-геолог, который с уверенностью протянул мне для прочтения «Таинственный остров» Жюля Верна. Я уже пробовал читать опрометчиво «испорченных» просмотром экранизаций «Детей капитана Гранта» и «Остров сокровищ», но эта динамичная эпопея коллективной «робинзонады» опять захватила меня, не отпуская.

Карта-загадка присутствует и в «Острове сокровищ». Но в «Таинственном острове» она стимулирует не поисковую, а преобразовательную деятельность.

И я начал создавать индивидуальные «империи», разрисовывая карты многочисленных, давно никем не открываемых учебников. Из попутного чтения особо заинтересовал эпизод Неаполитанского восстания 1820—1821 годов Гульельмо Пепе, брата более лояльного власти генерала Флорестана Пепе. «Брат на брата...» В моем «карточном» варианте первый не просто побеждает, а становится основателем новой Римской революционной империи...

Карт было много, однако они закончились. И тогда я перенес поле своей «геополитической» деятельности в казавшееся неисчерпаемым библиотечное пространство.

Но вдруг явился ангел истинной читательской красоты, отличница, активная комсомолка и... читательская «партизанка»! В седьмом классе меня посадили рядом со Светой К., которая, как юный Цезарь, краем уха слушала учителя, давая в нужный момент правильный ответ на любой вопрос и тут же скромно опуская глаза под парту, где у неё на коленках лежала раскрытая «Война и мир»! Так началось мое примирение со школьной программой. Я немедленно взялся читать толстовскую эпопею — как воспроизведение мирного сосуществования именно этих двух сжатых «прекрасных мгновений»...

Следующей, совсем не поколенческой, книгой стала биография «Талейран» историка Тарле, сыгравшая роль терапевтической исторической прокладки...

Десятый класс, новые импульсы для творческого воображения на стыке разных видов искусств и технологий. В поселке, куда был направлен на работу главврачом больницы отец, совпали три составные части «революционной ситуации»: введение цифрового набора без посредничества телефонистки, показ фильма «Каждый вечер в одиннадцать» и появление на моем горизонте Лены П. (на класс младше). Фильм стал методичкой применения обновленного устройства. Вскоре у меня раздался телефонный звонок, и девичий голос,

не представляясь, уверенно заявил, несколько корректируя временны*е* перспективы: «Каждый вечер в девять». Это была, конечно, не она, но я тут же позвонил *ей* с аналогичной, как позже стали выражаться, стрелкой. Я начал пересказывать в по-своему адаптированном виде жизненный путь Талейрана. И ей это оказалось тоже интересно! Так начался мой новый, хронопоэтический, получитательский роман-интрига.

Но тут грянуло разоблачение. На классном комсомольском собрании был поставлен вопрос об исключении меня из комсомола за порчу библиотечных книг. Все девочки, включая и Свету, и Лену, дисциплинированно проголосовали «за», пацаны — «против», но нас было меньшинство. На следующий день меня повезли в райком комсомола на утверждение решения. Секретарь райкома Сорокин, внимательно ознакомившись с личным делом, вполне *программно* подвел итоги моего читательского опыта: «Да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха» (с особым упором на «грех»). Но всё же предложил не утверждать решение школьного комитета, ограничившись выговором «за антиобщественное поведение».

Василий Нацентов, поэт, эссеист, прозаик (Воронеж)

«На простой деревянной качели...»

В мире нет человека, который бы считал, что его жизнь обыкновенна. Особенно это касается детства. И всё же есть вполне привычные, предсказуемые вещи. Многие начинали свою сознательную жизнь со сказок Пушкина, «Приключений Буратино», «Маленького принца», «Аленького цветочка», «Алисы в стране чудес». Список можно продолжать долго. У каждого он, конечно, будет свой, но основные пересечения неизбежны.

Я же пошел не самой очевидной дорогой. «Маленького принца» внимательно прочел и полюбил, когда выпускал в новом переводе Аси Петровой. «Аленький цветочек» — когда работал над либретто для Московского театра мюзикла. В детстве я не читал детских книг, не понимал их и не чувствовал. Мне сразу нравились взрослые и скучные. «Проза, прости Господи, должна быть скучновата. Настоящая, великая проза», — говорит Бунин в мемуарах Ирины Одоевцевой. Это я чувствовал с самых ранних лет.

Хотя есть в моей детской жизни пересечения и с общеизвестными книгами.

Главная книга моего детства — «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. Детлитовское издание 1975 года с дивными иллюстрациями Алексея Лаптева, с которым (это выяснится много позже) учился во ВХУТЕМАСе/

ВХУТЕИНе мой прадед фотохудожник. Может быть, Незнайка и, конечно, моя бабушка, читавшая мне вслух, и сделали из меня сочинителя.

И ещё Чуковский, которого читали другая бабушка и отец. Музыка языка — это от Корнея Ивановича, к которому теперь я так люблю заходить в гости в Переделкине.

Литература многое отнимает у пишущего, но ещё больше даёт. Нужно посвятить ей жизнь — и она подарит весь мир. Впрочем, если бы в детстве мне сказали, что я буду сидеть на дачной веранде Чуковских, пить чай и читать свои стихи, я бы поверил. Я уже умел сочинять, как Незнайка, и не удивился бы такому повороту судьбы. Вымысел не есть обман, как сказал другой переделкинский житель. Нужно уметь сочинять жизнь.

Когда у меня родилась дочь, я сразу купил двухтомник Чуковского. Тайный смысл музыки языка важнее прямого смысла слова в любом возрасте. Я вообще думаю, что нужно сразу читать детям «взрослые» стихи, потому что главное — в музыке. Понимаем же (во всяком случае, чувствуем) стихи на иностранных языках, которых не знаем. Помимо Чуковского, я читаю ей на ночь позднего Пастернака, Фета, Тютчева. Это формирует её, но выстраивать окончательно будет то, что прочтет она сама.

Первым писателем, которого я прочел самостоятельно, был Василий Песков. Книга называлась «Птицы на проводах». Оранжевая, в цвет закатного солнца обложка с абрисом птицы и лося. Мелкий газетный шрифт в две колонки. Думаю, я полюбил эту книгу потому, что автор рассказывал о том, что я сам уже неплохо знал и даже любил. В ней жила близкая и понятная мне природа. И всё-таки другая, не совсем ещё моя — разнообразнее, загадочнее. Чем ближе я подходил к ней, тем интереснее и таинственнее она становилась.

Песков наметил мои мечты. И были они не африканские или американские — хотя Василий Михайлович обошел, объехал и облетел, казалось, всю землю и обо всех путешествиях писал, — мечтал я об Усманке, Графском заповеднике, Мещёрском крае, о соловьях в тальнике около старинного села Орлово.

Усманка и теперь — хотя от моего нового дома до её берегов можно дойти пешком — остается недостижима. Это не только речка детства Василия Пескова, но и моя речка тоже. В Каменной Степи, где я родился, — царство прудов и даже два «моря», Старое и Новое, но речки нет ни одной. Река до сих пор остается для меня, каменностепного мальчишки, особой радостью. А увидеть лису или зайца в природе мне интереснее, чем самых редких животных и птиц в неволе. Самое загадочное — рядом. Вот что Песков и его «Птицы на проводах» сформировали во мне.

Первым моим поэтом тоже был далеко не Пушкин, которого я по-настоящему начинаю любить только сейчас.

Первым я прочел Евтушенко.

Ночь, как раны, огни зализала.
Смотрят звёзды глазками тюрьмы,
ну, а мы под мостом Салазара —
в его чёрной-пречёрной тени.

Неплохо для детских стихов, правда? Особенно мне нравилось «эмигрируем в губы друг к другу мы из этой несчастной страны». В общем, всё это я понял и оценил действительно рано, не по годам. Да и сам факт того, что читаю я только те книги, которые мне хочется, и те, которые никто из моих сверстников не читал, прибавлял им значимости и очарования. И эта оттепельная — хотя Пескова сложно назвать шестидесятником — линия тоже играла важную роль. Семена лирики и свободы падали в благодатную почву. Ценнее были даже не сами стихи, но образ стихов, образ поэта и поэзии. Который тоже до сих пор со мной. Хотя иду я совсем другой дорогой.

Важным оказалось и то, что и с Песковым, и с Евтушенко (благодаря маме, которая, кстати, и положила мне на стол избранное Евтушенко) я не просто встречался, но и показывал им свои стихи. Сейчас это не звучит как что-то удивительное, но тогда: первый поэт, которого я прочитал, увидел и даже показывал свои собственные стихотворные опыты! И какие разные два этих мира — Пескова и Евтушенко. А ведь сочетаются во мне и от меня уже неотделимы.

Помните, у Мандельштама в стихах, которые дали название этой рубрике: «Но люблю мою бедную землю, потому что иной не видал». Любовь к зайцам и дроздам началась, наверное, потому, что не видал я тигров и павлинов. Но почему же она не гаснет? Почему дуб для меня интереснее пальмы? Я всю жизнь буду качаться в том далеком каменностепном саду на простой деревянной качели и жадно смотреть вокруг на простое и близкое, на самое родное и одновременно самое таинственное. И это продолжает формировать меня. Главное постичь ту тайну, которая рядом.

Александр Нилин, прозаик, журналист (Москва)

Первая — и навсегда

Первая — и теперь уже можно сказать, что до конца жизни — любимая: читаю её всю жизнь — раз в десять лет, раз в пять, перечёл и полтора года назад.

Она и букварь мне заменила.

«Трёх мушкетёров» я сначала слушал с голоса тёти Лёли (Елены Павловны) — подруги моей матушки, много лет жившей в нашей семье, —

она была на фронте, демобилизовалась зимой сорок пятого, семейный альбом хранит фотографию, где она ещё в офицерской форме, и рядом я с её пистолетом.

Весной сорок пятого года она начала читать мне — по моей просьбе (привлек меня чем-то толстый том синего цвета с изображенными на обложке четырьмя фигурами со шпагами) «Трёх мушкетёров». И когда обсуждали мы с нею прочитанное, вольно комментировала текст — и вот по уже слышанному тексту я начал учиться читать — и к своему пятилетию в конце июля читал про мушкетёров самостоятельно.

Наверное, чтение «Трёх мушкетёров» за два года до школы всё-таки преждевременно. И мысли о книге Дюма (интересно, что кроме «Трёх мушкетёров» и продолжения их в нескольких томах, я никаких его книг, даже «Графа Монтекристо» не прочел, не смог вчитаться, мне не хватало среди действующих лиц персонажей из «Мушкетёров») занимали меня больше, чем ребенку следовало бы.

Не прочти я так рано «Трёх мушкетёров», был бы другим человеком.

Дети играли (или играют, не знаю, как сейчас, сомневаюсь почему-то) в «мушкетёров».

Я же никогда в них не играл, убежденный в реальности их существования, пусть и давным-давно.

Мой пожизненный интерес к истории — от «мушкетёров».

От «мушкетёров» и мой — тоже, получается, пожизненный интерес — к политике.

Я никогда не был вхож в близкие к политике круги, не располагаю никакой инсайдерской, как теперь говорят, информацией. Но, пользуясь романом Дюма как жизненным путеводителем, обычно догадываюсь о том, что скажут политологи.

От Дюма я впервые узнал о противоречиях, драмах и самом феномене дружбы, особенно втроем.

Конечно, со временем и в силу выбравшего меня занятия, я всё больше стал интересоваться и тем (а может быть, и прежде всего тем) *как сделаны* «Три мушкетёра».

Д'Артаньян дружит с каждым из мушкетёров скорее отдельно.

Дюма и представляет их нам (*авторский приём*) глазами Д'Артаньяна, чьи мемуары, кем-то вроде бы за него написанные, автор «Мушкетёров», по слухам, прочел прежде, чем сел за роман.

Отдельность Д'Артаньяна и вынуждает, на мой взгляд, автора упорствовать с названием, где фигурируют трое, а не четверо, как в тексте.

Все попытки инсценировать-экранизировать «Мушкетёров» показались мне поверхностными, а снискавший огромный успех мюзикл я и смотреть не стал — не захотел делить своего Дюма с массовой публикой, как и вообще ни с кем из достойных его почитателей делить не собираюсь.

«Три мушкетёра» были моей первой книгой — и очень бы хотелось, чтобы стали они последней в завершаемой жизни, мне кажется, что их присутствие скрасило бы уход из неё.

Михаил Павловец, литературовед, д. филол. н., проф. Школы филологических наук ВШЭ (Москва)

Самые свои книжки

«Книга моего детства» — вопрос для меня почти неподъёмный. У меня была не «книга», а книжный шкаф. Мамин книжный шкаф. Мама, офицерская жена с филологическим образованием, вынужденно работавшая тогда лаборанткой в в/части отца, тем не менее сохранила страсть к чтению и собиранию книг, и когда мы наконец переехали из квартирки «с подселением» в нормальную офицерскую двушку и у меня появилась своя комната, мамин книжный шкаф был водружён именно в этой комнате. Я проводил часы у подножия шкафа, извлекая поочередно стоящие на его полках книги — прежде всего серии «ШБ» («Школьная библиотека»), но далеко не только — и читал-читал-читал, а потом перечитывал. Это, пожалуй, главный шкаф моего детства.

Тем не менее две книжки стоит упомянуть отдельно, так как они пришли ко мне необычным образом. Первую, кем-то оброненную, я подобрал в пять лет с земли в курортном городе Гагры, когда впервые в жизни мы поехали с родителями на море. Волшебство этой поездки соединилось с чудесным обретением книжки, которая называлась «Приключения Кубарика и Томатика, или Весёлая математика», авторы — поэт Генрих Сапгир и Людмила Левинова. Книжкой я бредил, бесконечно её перечитывал, помогая друзьям — лошадке Кубарику и человечку Томатику — в их приключениях (нужно было решать разного рода математические задачки и головоломки). Сегодня я понимаю, что чтение книжки напоминало чем-то компьютерную игру, только была эта игра на бумажном носителе — и загружалась прямо в голову юному геймеру.

Другая же книжка тоже пришла ко мне при обстоятельствах, казавшихся тогда настоящими приключениями. Это была поездка к сводному брату отца — дяде Коле, который жил в доме на берегу озера (!), служил в колхозе конюхом (!), имел настоящую лодку с мотором (!!)... Всех чудес не пересказать, но однажды из старой тумбочки дядя Коля достал и подарил мне, кажется, единственную книжку, которая осталась в его доме от выросших детей, и это была большая иллюстрированная книга Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Позднее я узнал о трагической судьбе автора, тогда же само его имя звучало как имя сказочника, а приключения мальчика Карика и его сестры

Вали, которые в квартире профессора-энтомолога Ивана Гермогеновича Енотова выпили волшебный элексир — и настолько уменьшились в размерах, что были унесены из квартиры случайно залетевшей в окно стрекозой, будили фантазии напополам со жгучим любопытством. Я уже знал книжку наизусть, но вновь и вновь перечитывал, как профессор, догадавшись, что же произошло, превращает себя в лилипута и отправляется на поиски детей. Я воображал себя участником этой захватывающей экспедиции — и настолько увлекся миром насекомых, что стал искать подобные книжки. Сюжет романа-сказки Владимира Брагина «В стране дремучих трав» меня не сильно увлек, а вот научно-популярные книжки вроде «Юному энтомологу» П.Мариковского, которая нашлась в мамином шкафу, сильно расширили мой мир.

К счастью или к несчастью, но уроки математики, как и уроки ботаники в школе, не были занимательными и быстро отбили мой интерес и к той, и к другой дисциплине (как отбил интерес к космосу и звёздам курс астрономии в пятом классе, который я ждал с душевным трепетом, но уже через месяц всей душой возненавидел). Однако с учителями литературы мне в целом везло, да и мама всегда была рядом, поэтому читать вовсе я не бросил, переключившись полностью на художественную литературу: то научно-фантастическую, то историческую, то просто на всё подряд, — и в какой-то момент обрел читательскую независимость и от маминого книжного шкафа, и тем более от школы.

Чтение, исследование книги и пропаганда чтения в конце концов стали составляющими моей профессии, а в будущем и одной из «скреп», на которых держится наша семья. Взявшись за написание этого текста, я поинтересовался у наших детей — заядлых читак, — была ли у них своя «книга детства», и такие книги были названы.

Дети старшего поколения упомянули «Чучело» Владимира Железникова и «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла, а также «Зоки и Бада» Ирины и Леонида Тюхтяевых. Если с первыми двумя всё более или менее понятно, то про гениальную книгу Тюхтяевых с не менее гениальными иллюстрациями Юлии Гуковой и Владимира Буркина могу сказать, что она стала поистине культовой в нашей семье: мы неоднократно перечитывали историю несносных зоков и стоического великана Бады — и до сих пор цитируем самые яркие фразы из неё, например: «Да в меня пять таких банок войдёт, я — понятие растяжимое»; «Чаще тот носи носок, что связал любимый зок» или «Ты бы еще луку купил... на компот!»

Младшее поколение имеет свои книжки. Во-первых, это цикл рассказов «Саша и Маша» голландской писательницы Анни М.Г.Шмидт: рассказы короткие, очень удобно читать перед сном (кстати, настоящие имена героев — Йип и Йанеке)! Во-вторых, книжки про малыша Николя — это серия весёлых рассказов Рене Госинни (он же автор «Астерикса») про озорного французского

мальчишку, чем-то похожего на тех же зоков. В-третьих (и тут уж точно семейным было не только чтение, но и разглядывание), — похожие на виммельбухи книжки шведского писателя и художника Свена Нурдквиста про Петсона и его друга кота Финдуса (а я бы ещё добавил сюда — кур и мюклов, следить за которыми лично мне как родителю было даже занятнее). Ну и, наконец, — младшее поколение отдало дань и русскоязычной классике для детей, назвав «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, которыми я сам зачитывался в детстве... но не так, не так, как Яном Ларри[1]! Которого, конечно, читали наши дети с большим увлечением — но не с тем, не с тем, с каким самые любимые свои книги... Впрочем, кажется, не стоит желать большего: у каждого поколения свои книжки, замечательно, когда есть межпоколенческие пересечения — но самые любимые книжки должны быть всё-таки самыми своими.

Андрей Пермяков, поэт, прозаик, литературный критик (Ярославль)

«Четырнадцать лет — тоже детство»

Детство есть процесс замечательно долгий и круг чтения меняется много-много раз. А мне к тому же повезло: научился читать ровно в четыре года. Ездили в Евпаторию, папа рисовал красивые буквы, объяснял звучание, я запоминал. В слова буквы сложились как-то сами. Читал вывески, когда приехали домой, нашёл книгу Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», и вот. Конечно, мало чего понимал, но запомнил картинки и некоторые похождения.

Далее было примерно как у всех, но с мелкими нюансами. Почти всё то самое долгое детство нравились «Пётр Первый» Алексея Толстого, «Чайки далёкого моря» Ивана Панькина, «Детство в Соломбале» Евгения Коковина. Соцреалистические моменты этих книжек в глаза особо не лезли, а сами по себе они хорошие. Ещё любил «Удмуртские сказки». И том красивый, толстый, и сами по себе они весьма необычные. Другая немножко культура, хоть и вовсе рядом с нашей.

Кроме того, в Перми ж были отличные издательства и мощнейшая группа детских писателей. Льва Давыдычева сейчас вполне переиздают, хотя пародийный детский боевик «Руки вверх, или Враг № 1» вне контекста совсем

[1] Что касается «Кубарика и Томатика» — мой личный экземпляр пал жертвой моей младшей сестры, а когда книжка была, наконец, переиздана — её поздно было предлагать нашим детям.

не воспринимается как пародийный, а, например, «Дядя Коля — поп Попов — жить не может без футбола» или «Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство» теряют значительную долю прелести: ну, любит батюшка футбол, чего такого? При коммунистах подобное выглядело иначе и вряд ли могло выйти в издательствах более центральных, чем Пермское книжное.

Однако повторим: Давыдычева неплохо помнят. А «Капризку» Владимира Воробьёва если и вспоминают, то благодаря мультфильму. Меж тем, книжку иначе как «культовой» обозвать сложно. Хоть слово это и смешное. Мы уже в институт поступили, когда иногородние студенты брали её почитать и предивно хохотали. Правда: отличная детская литература бытовала в Перми. Жаль — в прошлом веке.

С другой стороны, четырнадцать лет — тоже детство. В апреле 1987 года в журнале «Юность» появился «Испытательный стенд». Первый выпуск. Далее было ещё два. Журналы тогда выписывали все. В смысле, все семьи выписывали все журналы. Так мне казалось, по крайней мере. «Октябрь», «Знамя», «Новый мир», «Дружбу народов», «Роман-газету». «Литературную газету», разумеется. Всё это было очень интересно, однако помянутые номера «Юности» просто сразили. Ерёменко, Искренко, Парщиков, Арабов, Кальпиди, Гандлевский, Кибиров... Сам я, правда, стихи начал писать ещё лет через двадцать, но осадочек остался, как говорят. В добром смысле.

С чтением у детей тоже получилось интересно. На довольно раннее детство старшего, а Федя у нас родился в 1994-м, пришлось время Гарри Поттера. И фанфиков, конечно. Кроме того, Толкин, Клайв Стейплз Льюис и, скажем, разнообразные фантасты к тому времени изданы были уже в количествах. Лет в 12-13, правда, ребёнок стал предпочитать Михаила Веллера[1], затем Сергея Довлатова. Всё, получается, в пределах возрастной нормы.

Младшая долго любила сказки. Книжки ж были очень красивые. Например, «Сказки века» из преогромной серии «Итоги века». Или такое: уже в Москве, ещё точнее, в магазине «ПирОГИ на Зелёном» однажды произошло массовое-премассовое литературное мероприятие. Там дочка то ли выцыганила у Виталия Пуханова «Волшебную книгу», то ли он сам ей подарил. Развлечения хватило очень надолго: это было издание, сочетавшее разные детские гадания, игры, вкладки с рисунками и всё-всё-всё. Далее (тоже, кажется, лет в двенадцать) Нина прочла «Дом, в котором...» Мариам Петросян. Полюбила сей жанр.

Но снова: что считать детством? Или даже чтением? К примеру, жили мы когда-то в призаводском районе. Завод сидел в кризисе, район стал богат на гопников. Средь них был заметен некто Шило. Приводы, условный срок, весь комплект. После девятого, конечно, наладили его в «лицей». Бывшее ПТУ. А Федя в тот же год перешёл в седьмой класс очень приличной школы.

[1] Признан Министерством юстиции РФ иноагентом.

Почти случайно выиграл городскую Олимпиаду по биологии и довольно не-случайно прошёл в той самой школе собеседование.

Начало учебного года, звонок в дверь. Открываем — стоит Шило:

— Здравствуйте. Федя сказал, что у вас есть двухтомник Анны Ахматовой?

Дай мне сто попыток угадать вопрос от Шила, ни за что не угадал бы. Ну, видимо, в шараге ему объяснили: если за ум не возьмётся, поедет в шараги уже другие. Дали список литературы, отправили делать реферат. Выдали мы ему искомый двухтомник.

Через несколько дней спрашивает уже Федя:

— А можно, мы с двумя одноклассницами к нам придём? Тортик в школу состряпаем на День учителя?

Разрешили, понятное дело. В итоге кроме двух одноклассниц пришли ещё шесть. И одноклассников человек девять. Все перешли тем годом из своих разных школ в эту вот, хорошую. Решили это дело обмыть, пока нет родителей. Взяли по бутылке на погон химозных коктейлей, «пива» «Реддс» для барышень, нормального пива «Корона», ещё разного. И фисташек с чипсами.

Описывать пьянку добросовестных семиклассников — занятие беспощадное и уж точно бессмысленное. Я как-нибудь в другой раз обязательно попробую. Там примечателен финал: приходит этот самый Шило, приносит двухтомник Ахматовой. Видит степень катастрофы. Будучи человеком в таких делах опытным, принимает меры. В смысле, вытаскивает юную интеллигенцию в подъезд, далее на улицу. Кого на остановки, кого так — пока в снегу отваляться. В итоге все добрались, но вечером пошли звонки от бабушек: дескать, мы их внуков спаиваем, нас посадить надо. Мы вяло сопротивлялись, мол, Федя в классе самый младший, просто живёт ближе всех от школы. Опустим завесу жалости, словом. Но всё обошлось. История эпичная, почти невероятная, но уж слишком многие её тогда запомнили.

Такие получаются воспоминания о детском чтении.

Ирина Чуднова, поэт, переводчик (Китай, Пекин)

«Разве медведи ангелы?»

В мои дошкольные семидесятые самыми важными книгами были стихи. Я требовала их читать, пока читать не умела, и бесконечно декламировала выученные наизусть погонными сборниками. Разумеется, стихи были детские: сказки Пушкина, Хармс, Чуковский и даже Лермонтов, который, как теперь понимаю, вошёл ещё в девятнадцатом веке в казачий песенный канон.

Но быстрее всего на память приходят три стихотворения Чуковского: «Краденое солнце», «Федорино горе» и поразившее меня сильнейшим лирическим переживанием «Топтыгин и луна». Первое моё собственное стихотворение было написано (правильно сказать — сочинено) в пять с половиной лет, когда детский мой поэтический канон был усвоен всем существом и ушёл глубоко не в подкорку даже — в представления о мироздании.

Прабабушка моя, родившаяся в последний год века девятнадцатого, в те годы уже приближающаяся к своим восьмидесяти, в который раз, не уставая, с чётким выговором и драматическими паузами, читала мне, прильнувшей к ней трёх-четырёхлетке, о том, как «скачет сито по полям, а корыто по лугам», как «только чёрные совы из чащи на неё (Медведицу), свои очи таращат» и о том, как:

Два крыла, два крыла
Им ворона
Дала, —
Два крыла
От большого орла.
А четыре крыла
Им сова
Принесла —
Воробьиных четыре крыла —

и меня завораживают сочетания слов и сама мелодия русской стиховой невозможной простоты. Мелодия, от которой мурашки бегут по коже и открываются пространства устройства Вселенной, получаемой в ощущение не через то, к чему можно прикоснуться, но через то, что содержат слова сказанные и несказанные — то, что кроется между словами, то, как загорается фонарь созвучия на концах метрической соразмерности.

Самое мурашливое место в «Краденом солнце» было это:

А в Большой Реке
Крокодил
Лежит,
И в зубах его
Не огонь горит, —
Солнце красное,
Солнце краденое.

Рифменное сочетание «солнце красное, солнце краденое» до сих пор потрясает меня точностью и глубиной мирозданческой закономерности — мы, живые, воруем свет для своего существования, мы ничто без своего светила. Но природа страха и есть тот крокодил, который ворует, крадёт его у нас, застилая тучей предощущений, отсылаемых нами к событиям завтрашнего дня, к тому, что мы сами, опираясь на опыт внутренней неустойчивости, ставим между собой и счастьем, между питающим нас огнём.

В «Федорином горе» огромным открытием моих трёх лет стало понимание, что Федора и баба, у которой посуде «было худо», — это одно и то же лицо. Рассказывать об этом маме или деду с бабушкой было бесполезно — они не понимали, о чём я. А вот моя пра сразу поняла, о чём это я, и рассказала, что казачки донские бабами не назывались, бабы — это северные крестьянки. Сколько же такими комментариями моей Аполлинарии Филипповны, бабы Пани, к незнакомым словам и малым открытиям впечатлительного ребёнка прирастало моё осознание и понимание мира действительности через язык.

Язык и по сей день для меня средство к освоению мироздания, но и часть мироздания же, в котором есть и незаполненные лакуны, и белые пятна. И тарелки бегут от Федоры не только потому, что в мире говоримого это возможно, но и потому, что в предметах, создаваемых человеком, есть потенция бежать от человека, если он, человек, неважно с ними обходится. Но стоит осознать это, подобреть и поласковеть, и насельники рукотворного мира простят своего создателя — посуда ли, оружие, виртуальный мир... Возможно, это понимание и даёт мне оптимизм перед лицом тревожного настоящего.

В четыре с половиной, когда вечером вдруг отключили свет, я сильно рассекла кожу под бровью о спинку кровати, расшалившись перед отбоем, раз за разом падая в огромные подушки, набитые гусиным пером. Чувствуя вину, уснула в лужице крови на крахмальной наволочке, после, разбуженная старшими, ещё больше перепугалась и зарыдала безутешно, что нужно ехать в неотложку. Пока мама и бабушка обзванивали ночные больницы, суетились по дому, собирая то и это, я, полусонная, полуистерящая подкатилась под крыло пра, и она читала мне, успокаивая, про Топтыгина и луну, про разнокалиберные птичьи крылья, которые другие птицы — не орёл и не воробьи — ворона и сова — принесли медвежьей семье, чтобы те отведали лунного мёда. И вдруг, перестав плакать, потрясённая, я спросила:

— Разве медведи ангелы?

— И ты ангел! — ответила мне баба Паня. — Поезжай, тебе в больнице глазки медом помажут, ранку зашьют, и полетишь на Луну, как Топтыгин!

...И все перипетии той ночи — ночная тряская дорога до больницы, лай потревоженных собак старого Ростова, преддверие кабинета хирурга с полудюжиной таких же, как я, незадачливых бедось дошкольного и младшего школьного возраста, — всё растворилось в этих словах «и ты ангел!». И даже сверкание иглы на границе зрения и тягучий скрип нитки, ощущаемый кожей, не испугали и не принесли боли — ведь ангелам неведомы страх и боль.

Ангелам ведом лунный мёд поэзии, драгоценный и даровой. Неизбывный.

Сергей Шаргунов, прозаик, главный редактор журнала «Юность» (Москва)

«...А папа говорит: нельзя, это человек»

Как я рыдал из-за «Теремка»! Одна из моих первых книг. Все собирались вместе, но медведь всё нелепо разрушил. Лад, сменившийся болью, — такое запоминается.

Я любил жития святых, волшебные сюжеты, особенно про какого-нибудь мученика, который нёс в руках свою отрубленную голову.

Помню, бью кулачком по картинке — по капризной старухе рядом со стариком у разбитого корыта, — а папа говорит: нельзя, это — человек.

Я обожал Карлсона и мечтал о таком друге, чтоб вместе проказничать.

А ещё среди любимых писателей моего детства — Софья Прокофьева («Лоскутик и Облако») и Юрий Томин («Шёл по городу волшебник»).

В детской литературе у меня много пробелов, и я их заполнял и заполняю с детьми (в результате несколько раз читал «Денискины рассказы».)

Например, недавно прочитал дочке «Пеппи Длинныйчулок», в том числе потому, что в советской книжке один из персонажей, господин во фраке и котелке, подброшенный девочкой-силачкой, срисован с писателя Юрия Казакова, героя моего исследования.

Дочке больше нравится «Цветик-семицветик» другого моего героя: мы даже делали цветок из салфетки и надрывали её, чтобы получались лепестки, от которых потом избавлялись под известное заклинание.

Сейчас спросил её, и она назвала две книги, с удовольствием читала их недавно вместе с мамой: «Мы все из Бюллербю» Астрид Линдгрен и «Рассказы про Франца» Кристине Нёстлингер.

А я их не читал! И, возможно, уже не прочитаю.

Алина Митрофанова

Время падения снега

* * *

А Пушкин мог, а Пушкин успевал!..
А Пушкин — бог, а Пушкин — идеал.
А Пушкин жил, а Пушкин не тужил,
А Пушкин наш заглавный старожил.

С портретов смотрит, как всегда один,
Великий Пушкин, Пушкин — сукин сын!
Зимою вьюжной, летом на морях
Извечный Пушкин. Пушкин в житиях...

Вот юный Пушкин зачитал стихи —
С державиных спадают парики,
Вот Пушкин декабристам шлёт привет,
Вот Пушкин новый написал памфлет.

Простился с морем. Съездил на Кавказ.
Вот Пушкин в школе. Пушкин — первый класс.
Он снова в ссылке. Снова средь друзей.
Стоит затылком к почестям царей.

Вот донжуанский список оглашён.
Женатый Пушкин. Пушкин как масон.
Усталый Пушкин. Пушкин и родня.
Вот Пушкин с няней выпьют за меня.

Митрофанова Алина Валерьевна — поэт и прозаик. Родилась в 1992 году в городе Тихвине. Окончила Санкт-Петербургский институт культуры в 2015 году и Русскую христианскую гуманитарную академию им. Ф.М.Достоевского в 2026 году. Работает в библиотеке. Автор поэтических книг «Непокой» (2018), «Зелёные стихи» (2021) и «Вниз головой» (2024). Живёт в г.Санкт-Петербурге. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

За нас, за всех, не раненных в живот,
Кто понимает: Пушкин, гляньте, вот
В карете мчится, обгоняя смерть,
И нам за ним вовеки не посметь.

Ассоциации

I

Есть дом-музей, в нём жил когда-то тот,
Которого читают, помнят, любят,
Его не замолчала революция,
ЭКСМО нередко переиздаёт.

Есть дом-музей. Придёт экскурсовод
И скажет, не его это комод,
Конторка не его, ни стол, ни скатерть —
Лишь зеркало, в него глядел писатель.

Лишь зеркало вздыхает на стене,
Пришёл черед в него вздохнуть и мне.

* * *

По ямбовым дорожкам
Проторенным путём
Пройдём ещё немножко.
Пройдём!

Под стройный ритм шагая,
Оттачиваем шаг —
До Юлия, до Гая
Никак.

То дактилем заплачем,
То в дольник убежим,
Но как-нибудь иначе —
Зажим.

Вот скачут верлибристы
На прозовых конях,
А мы им вслед со свистом:
«Фигня!»

Но где-то там далёко
Не сдюжат и они —
Идёт на всех потоком
ИИ.

* * *

Покуда не живёшь вперёд,
Покуда не живёшь назад,
Покуда вновь, разинув рот,
Глядишь в ноябрьские глаза.

О, как темно! Ах, как темно!
Как ничего по вечерам,
Горит соседнее окно
И говорит: «Не дам, не дам!»

И наливные фонари,
Смеясь, твой впитывают свет,
И ничего растёт внутри,
А солнца не было и нет.

И по утрам темно, темно,
Будильник разрывает сон,
Глядишь в соседнее окно,
А там все смотрят в телефон.

О, не гляди! Ах, не гляди!
Будь верен неподвижной тьме,
Как соглядатай и бандит
В чужой надменной кутерьме.

* * *

Ты его попросишь о любви,
Он тебе подарит нелюбовь,
Нелюбовь и этот яркий снег,
Что немного жизнь твою подсветит.

Ты его попросишь, чтоб дела
Шли как можно звонче, веселей,
Он тебе подарит неуспех
С музыкой в подземном переходе.

Ты его попросишь о судьбе,
Чтобы не роптать на нелюбовь,
Чтоб не попрекать за неуспех,
Чтобы вспыхнуть бодрым фейерверком.

Он тебе в ответ подарит дождь,
Серый дождь бескрайней незимы,
И с тех пор ты у него просить
Будешь снег и ничего другого.

* * *

Время падения снега,
Будто бы выдачи счастья, —
Сыплется, сыплется с неба
На городские запчасти.

Ну, выходите скорее
И подставляйте ладони,
Грустные тел батарейки
Подзаряжая на дольний...

Снег — это значит, что скоро,
Снег — это значит, приидет —
Падает время на головы
И никого не обидит.

* * *

Когда въезжаешь в Стамбул впервые,
Каждая большая мечеть кажется Айя-Софией.
Ататюрк на флагах с лицом Бандераса,
Вечность базара с вкраплением эпоса.
Где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь
Звучала благая весть,
Второй Рим рождал третий,
Чтобы ты прогуливался сквозь столетия.
Здесь, здесь, именно здесь
Рогатых минаретов не счесть,
Правила движения позабыть,
На переулке не сбили, не задавили —
Стало быть, нужно жить
Дальше, зачем-то, за чем-нибудь,
Навигатором строишь путь
Туда-туда, к древнему ипподрому,
Чтобы издалека, в толпе вожделеющих туристов,
Увидеть Айя-Софию совсем по-другому,
Увидеть паломником,
Увидеть любовником,
Увидеть крестоносцем-разбойником,
И уже никогда-никогда
Ни с чем другим на свете
Её не перепутать.

Елена Бодрова

Тот самый пакет с грёзами

Повесть

Глава первая. Кто-то растерял все грёзы

— Анжелиалусикарс!

Тот вскинул светловолосую голову, чтобы равнодушно глянуть на судью.

— Суд Девяти Светил приговаривает вас к ссылке на нижний людской уровень с целью перевоспитания. Ссылка продлится семь рассветов. Динитриенарс!

— Да! — Темноволосый тоже вскинул взгляд на судью, но не равнодушно, а очень даже воодушевлённо.

Анжелиалусикарс, сидящий рядом, фыркнул в поднятый воротник небесного одеяния и снова принял расслабленную позу. Небесные стулья в зале небесного суда ужасно его утомляли. Впрочем, как и стулья в небесной школе. В давние времена все сидели на облаках, и надо же было именно их Грозовому Преднебесью взять у людей эту дурную моду на стулья. Кто вообще придумал брать пример с людей? Анжелиалусикарс, конечно, знал кто: Людорок, который не менее девяти раз спускался на людскую землю, согласно преданию.

— Динитриенарс, за высказывание Правды вы награждаетесь тремя желаниями.

Динитриенарс заметно обрадовался. Анжелиалусикарс скосил на него взгляд и снова фыркнул. Чему он там радуется? Из грёзоведения своего

Елена Бодрова (Романова Елена Эдуардовна) родилась в 1986 году в Магнитогорске. Окончила Магнитогорский государственный университет по специальности «психолог» и Магнитогорскую государственную консерваторию им.М.И.Глинки (специальность — «композитор»). Печаталась в журналах «Новый мир» и «Дружба народов». Автор книг «Белая. Разговор через стенку больничной палаты» (2020), «Дом, в котором живёт Гром» (2021), «Имитация» (2025) и других. Лауреат литературных премий, в т.ч. имени Фазиля Искандера и премии журнала «Дружба народов». Живёт в Магнитогорске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 4.

не вылезает, вот и не знает, что исполнение желаний таит в себе не только счастье, но и страдание. Анжелиалусикарс — ангел желаний, он знает о них всё. Сколько людских разочарований он прочувствовал? Сбылось не то или не вовремя, и другие ля-ля. А этот в своих грёзах витает.

Обещанные три желания тотчас повисли над головой Динитриенарса яркими звёздами.

— Динитриенарс, три желания пригодятся вам на людской земле.

— Простите? — сказал Динитриенарс.

То же самое мог бы сказать и Анжелиалусикарс: он даже слегка приподнялся из полулежачего положения на неудобном стуле.

— Динитриенарс, Суд Девяти Светил принял решение присоединить вас к Анжелиалусикарсу для перевоспитания. Вы очень прилежный, разумный и начитанный молодой ангел. Мы уверены, что вы окажете светлое влияние на душу вашего друга.

— Он мне не друг, — тихо заметил Динитриенарс.

Анжелиалусикарс услышал и опять фыркнул в воротник. Вот кому придётся несладко на людской земле — ангелу грёз.

— Заседание окончено, приговор оглашён, все присяжные по облакам! — объявил судья. Но тут же добавил: — Анжелиалусикарс и Динитриенарс, не расходитесь по облакам. Вы сейчас же отправитесь к лестнице и спуститесь на землю.

Ангелы ответили одновременно:

— Ага, как же.

— Хорошо, только захвачу грёзы.

Быстро переглянулись. Один усмехнулся, другой строго сдвинул брови.

Здание суда рассеялось, стулья растаяли. Анжелиалусикарс улыбнулся, глядя на быстро выветривающиеся лужицы в тех местах, где они стояли. Всё-таки эта мода на человеческую твёрдую мебель ему не нравилась. Он не так уж много знал о человечестве, потому что не любил читать о них. Он больше любил смотреть закатные сияния по вечерам — это расслабляло после утомительных занятий в небесной школе. Любая ответственность, в том числе и учёба, была в тягость Анжелиалусикарсу. Его и осудили за оплошность, по его мнению, не такую уж серьёзную. Ну потерял мешок с людскими желаниями. Подумаешь!..

— Тебе зачем грёзы на земле? — спросил Анжелиалусикарс у Динитриенарса, который уже сбегал за ними. Теперь грёзы витали вокруг него, как серебристые птицы.

— Не могу их бросить. Пойдём к лестнице?

— Вот так безропотно спрыгнешь на землю следом за мной?

— Не спрыгну, а спущусь по лестнице. Там тысяча сто одна ступень, давай же отправимся в путь, иначе до заката не поспеем. Смотри, солнце уже сильно отклонилось от верхней точки.

— Ой да ладно, не ропщи. В лестнице сколько ступеней?

— Тысяча сто одна ступень, я же сказал.

— Есть идея получше.

— Идея?..

В следующую секунду Динитриенарс получил сильный толчок в грудь от Анжелиалусикарса, успел схватиться за его руку, и вместе они полетели с облака вниз.

Грёзы рассыпались, как пудра, и разметались во все стороны.

Глава вторая. Песня о той самой любви

Ольга всматривалась в призрачно поблёскивающую витрину кофейни через дорогу. На улице темнело из-за стремительно набежавших туч, и ещё немного — из-за наступления вечера. Реальность превратилась в мюзикловую декорацию. Вдалеке громыхнуло, закапал дождь.

— Здравствуй, мой личный ромком, — поздоровалась Ольга со сладко-пряной атмосферой реальности.

Кажется, в воздухе даже витал ванильный аромат, возможно, от булочной неподалёку.

Ольга двинулась по пешеходному переходу прямиком к кофейне. Пока не передумала, надо действовать.

У стойки стоял он. Ольга посмотрела на бейджик, хотя и так давно уже знала это сочетание букв. Виктор. Победитель. Также она знала: 1) ему восемнадцать, то есть на три года больше, чем ей; 2) он делает потрясающий кофе, рисует сливками сердце и разбивает его кофейной каплей; 3) у него самые красивые в мире глаза, но они суровые, ни у кого нет таких суровых глаз; 4) он зачем-то бреет голову, отчего взгляд кажется ещё строже.

— Латте, пожалуйста, — тихо произнесла она под взглядом этих суровых глаз.

Ольга преследует Виктора уже месяц. Смотрит на него со стороны по вечерам, когда он заканчивает работать, выходит из кофейни и ожидает под козырьком остановки.

Иногда Ольга заходит в кофейню, якобы заказать кофе, а на самом деле заговорить, познакомиться. Но никогда не заговаривает, не знакомится, а только заказывает кофе.

Однажды Ольга села в тот же троллейбус, что и он. Вышла за ним следом, прошла до переулка Строителей. Он оглянулся. Ольга резко развернулась и зашагала в другом направлении, всем видом показывая, что туда и шла.

А ещё Ольга сочинила песню. Ведь она певица. Когда придёт время скучной взрослости, она отбросит скучность, вместо этого напишет собственный мюзикл и поставит его в самом крупном в мире мюзик-холле.

А пока есть одна песня.

В кофейне в середине зала стоит чёрный рояль, предназначенный для исполнения «живой музыки» по вечерам.

Ольга услышала шум миксера и гром за окном, когда садилась на чёрную банкетку. Какой уютный жёлтый свет исходит от ламп, развешанных по всему залу!

— Ты варишь кофе, — сипло пропела Ольга, взяв на фортепиано первый звук. — Льёшь сливки на сердце. Ты поёшь в моей голове мои песни.

Она старалась не смотреть в сторону барной стойки. И без того хорошо представляла себе этот взгляд. Суровый, как всегда. И обращённый на неё. Странно, конечно, усесться за инструмент и запеть ни с того ни с сего. Но надо продолжать.

— Я записываю ноты, чтобы тебе подарить свои песни о первой любви. Слышишь? Я о тебе пою. Слышишь? Слово начинается и кончается на «лю».

Краем глаза Ольга заметила движение за стойкой и запела громче.

— Пройдут годы, я стану известной. Поставлю свой мюзикл, и мы с тобой встретимся, — продолжала она петь и нестройно подыгрывать на рояле. Как назло, западала «ре» второй октавы. — В гардеробе столкнёмся, ты улыбнёшься мне. И скажешь тихо, вскользь: «Ты всегда мне нравилась». Слышишь? Я о тебе пою...

— Девушка, — раздался рядом строгий голос. Ольга перестала играть, замолкла, но почему-то не повернула головы.— Извините, но посетителям здесь запрещено играть.

— Вот прям запрещено? — Ольга развернулась на банкетке и воззрилась снизу вверх на Виктора.

— Вот прям запрещено.

Ольга с трудом вынесла этот укоризненный взгляд. И от смущения выпалила:

— А ты почему такой лысый? Тяжело болен, что ли?

Не то, что стоило говорить симпатичному парню. Виктор поджал губы. И в глазах его — как рисуют в комиксах — появились молнии. Желваки задвигались.

— Ваш латте готов.

Он развернулся и направился к стойке. Ольга засмотрелась на его походку. Походка у Виктора — культурное наследие человечества. Что-то от Шерлока-Камбербетча.

В зале было не так уж много людей, и все они расселись за дальними столиками, разметались по углам, как пугливые паучки. Кажется, никто и не обратил внимания на её песню и короткий разговор с Виктором.

Ольга поднялась и прошествовала к стойке. Обхватила ладонями чашку. Сливками было изображено солнце. Так вот оно где, солнце, — упало в её кофе.

— Меня зовут Ольга, — сказала она, глядя в чашку.

Затем отпила глоток. Посмотрела на Виктора. Он вытирал стакан и игнорировал её имя. Интересно, почему официанты постоянно трут стаканы?

— Почему вы всегда вытираете стаканы? Это что-то чисто официантское? Или нервное?

Виктор сконцентрировал на ней полный негодования взгляд, но и на этот раз промолчал. Да что с ним такое? Она всего лишь спела песню. Ну да, несёт всякую чушь, но с кем не бывает. Когда влюблён и не такое делаешь.

Вот не так Ольга хотела познакомиться. Но нужно было продолжать, иначе не следовало и начинать. Ведь её жизненный девиз звучит именно так: начал — продолжай.

— Это была песня о тебе. Там есть слова: слышишь, я о тебе пою. Ты слышал? Я о тебе пела. Короче, я хочу с тобой погулять. То есть прогуляться. Может быть, пройтись. Например, по парку. Ногами.

Виктор поставил стакан с громким стуком. Опёрся обеими руками о высокую стойку и пронзительно посмотрел Ольге в глаза. И всё это было так брутально... Ух!

— Это что, шутка?

— Да, — струсила Ольга. Потом она решила быть смелее: — Ну, вообще-то нет. Ты мне нравишься.

На секунду воцарилась полная тишина, в которую уместилась вселенная, состоящая из двух человек и вакуума вокруг них. Виктор смешался, не зная что сказать. А Ольга пожалела о сказанном. Она вновь обхватила чашку и любовалась пальцами Виктора, боясь поднять взгляд на его лицо.

— Зря, — сказал он и вмиг обрушил её ромком. — Нам запрещено встречаться с клиентами.

— Врёшь! А если сюда придёт твоя девушка, чтобы выпить кофе? Ты её сразу бросишь?

— Ладно, — признал поражение Виктор. — Ну тогда так: ты слишком юна для меня. Сколько тебе лет? Несовершеннолетняя же?

— Отнюдь. — Ольга выбрала слово, которое показало бы, насколько она совершеннолетняя.

— Отнюдь? — удивился Виктор.

Да, отнюдь. Но слово она выбрала не из эпохи восемнадцатилетних. Эх.

— Мне двадцать, — заявила Ольга.

— Ложь.

— Девятнадцать? — предложила Ольга с небольшой надеждой в глазах.

— Малолетка, в школу ходишь. У тебя рубашка явно от школьной формы.

Ольга оглядела рубашку. Да, так оно и было. Правда, не только рубашка, юбка тоже. Но Ольга не стала поправлять Виктора, пусть думает, что только рубашка от школьной формы.

— На вид лет двенадцать, — сказал Виктор.

Такого Ольга стерпеть не смогла:

— Вообще-то пятнадцать лет и три месяца, — строго проговорила она. И сразу же поняла, что просчиталась. — Ой.

— Вот именно: ой. Ты — школьница, а меня не тянет сесть в тюрьму.

— Обещаю, мы будем целомудренно прогуливаться по парку, а вокруг будут петь наивные птички. И так три года, пока мне не стукнет восемнадцать. Подождёшь меня три года?

Лицо Виктора посерело, весёлость, которая начала проступать в его глазах, мигом исчезла. Что-то трагичное и неотвратимое появилось во взгляде.

— Нет. Не подожду. — Он взял стаканы, которые перед этим воинственно натирал полотенцем, и отвернулся, чтобы расставить их на полке.

— Пройду годы, я стану известной. Поставлю свой мюзикл, и мы с тобой встретимся, — тихонько запела Ольга.

Виктор решительно обернулся. В его глазах появился металл.

— Не встретимся.

Но Ольга не обратила внимания на ответ этого буки и продолжила петь:

— В гардеробе столкнёмся, ты улыбнёшься мне и скажешь тихо, вскользь: «Ты всегда мне нравилась».

— Не столкнёмся. Не улыбнусь. И ты не в моем вкусе.

Ольга перестала петь и снисходительно вздёрнула бровь.

— Не в твоем вкусе — тогда не ешь меня.

Виктор оценивающе вгляделся в её лицо. Сердитые молнии в его глазах быстро погасли.

— Ты так просто не отстанешь, да? — поинтересовался он наконец.

— Не отстану.

Ольге показалось, что он вот-вот сдастся, но парень лишь пожал плечами.

— Жаль. Допивай свой латте и не задерживайся. Мне стойку протереть надо.

— Выгоняешь клиента? Я могу пить свой кофе хоть до закрытия.

— Он остыл.

— Люблю холодный.

Виктор вновь опёрся обеими руками о стойку и опустил голову, призадумавшись. Ольга залипла на линию его рук.

— Окей, — выдохнул он. — В семь часов у входа в кофейню. Погуляем, но не дольше получаса. Потом у меня дела.

Глава третья. С небес на землю

Она свернула в синий от наступающего вечера переулок. Так до дома ближе. А ведь ей ещё нужно многое успеть: выбрать, что надеть, сделать мало-мальскую причёску, нанести макияж.

Ольга шла вприпрыжку, напевая себе под нос что-то вроде:

Мы чужие этому фонарю,
но он светит для нас.
Мы говорим без прикрас
«ненавижу», «люблю».

Нам мало лет,
вокруг весенняя зима.
Я бы спела тебе сама,
но нет, пожалуй, нет.

Она воображала, как через пять лет они с Виктором, уже женатые, будут смеяться над знакомством. На годовщину свадьбы позовут всех друзей — Ольгиных и Виктора. И кто-нибудь обязательно спросит: а как вы познакомились? Ольга сразу рассмеётся и скажет: «Ой, это такая история! Представляете, я пела ему песню в кофейне, в которой он работал. А потом мы гуляли и болтали до самой ночи». Наперебой они с Виктором будут добавлять несуществующие детали к их первой встрече, чтобы показать её красочней, чем в реальности...

Кстати, о реальности. У Ольги будет всего полчаса на то, чтобы растопить ледяное сердце красивого буки. О чём с ним разговаривать? Может быть, спеть ещё раз? Так он толком не реагирует на музыку. Странный, как можно не любить музыку?..

Ольга задумчиво перешагивала лужи, когда впереди что-то грохнулось с полифоническим целлофаново-пластиковым звуком. Ольга остановилась

Лилия Газизова

И я стала облаком

Детские верлибры для взрослых

Детских верлибров не бывает. Изначально дети вообще стихов читать не умеют, но они мгновенно научиваются — подхватывают (или их подхватывает?) ритм и рифму. Корней Иванович даже настаивал, что для маленьких лучше писать парными рифмами, чтоб могли ухватить их своим коротеньким вниманием.

Полагаю, он прав. Заметьте, большинство людей, когда подрастут, читать стихи разучиваются. А верлибры читать и вовсе немногие умеют. Этим немногим именно их опыт чтения силлабики-силлаботоники помогает.

И у Лилии Газизовой соединить детское зрение с верлибром получилось, и это чудо. Думаю, дети и эти «детские верлибры» как стихи не прочтут: не уловят, что это умышленная, специально устроенная стиховая речь. Что не значит, будто им не понравится: просто воспримут их как маленькие, лукавые, очаровательные рассказики. Но зато эти опыты разом обретают двойного читателя. Дети прочтут — как летучую, склонную к улыбке и к игре прозу, зато родители их порадуются именно стихам — верлибрам. По-моему, изумительным стихам.

Выходит славная двойчатка, для тех и тех. Потому я и добавил в подзаголовок «для взрослых».

Алексей АЛЁХИН

Газизова Лилия (Dr. Janti) — поэт, переводчик, эссеист, кандидат филологических наук. Родилась в Казани. Окончила Казанский медицинский институт и Московский литературный институт имени М.Горького (1996). Ответственный секретарь международного журнала «Интерпоэзия». Преподаёт русскую литературу в университете Эрджиэс в Кайсери (Турция). Автор многочисленных публикаций в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Новый журнал» и др. и 18 поэтических сборников. Переводит на русский язык французскую, турецкую и татарскую поэзию. Лауреат ряда международных и российских литературных премий. С 2019 года живёт в Турции.

1

папа читал газету
а я стала деревом
у меня росли ветки
и кричали птицы

он не заметил
даже когда я зашумела
и запрыгала как вопрос
без знака в конце

я спросила а если я исчезну
он сказал подожди
и пошёл ставить чайник
как будто чай важнее

может я бумажная
а он просто не читает
то что не напечатано
между строк

2

мама говорит уже поздно
а я ещё не выдумала сон
он был почти готов
с двумя драконами и лестницей

но теперь драконы спят
а лестница обиделась
она больше не ведёт вверх
а только в сторону шкафа

я сказала маме что я фея
она сказала ты просто устала
и выключила свет
как будто там был выключатель

может я вообще свет
и никто не догадался
только плюшевый медведь
он всё понял и не сказал

3

папа спросил зачем ты это сделала
а я не знала как сказать
что просто хотела услышать
как шуршит сахар на полу

папа стоял как стена
в которой нет двери
а я была ключом
от какого-то замка

я сказала мне было интересно
он сказал это не причина
и стала собирать белые песчинки
как будто их можно склеить обратно

может я тоже песчинка
и меня не доклеили
поэтому я всё время
что-то ломаю

4

я кричу шёпотом
но мама не слышит
потому что у неё в ушах
живут взрослые слова

они толкаются там
как картошка в кастрюле
а мои слова
слишком лёгкие

они улетают
ещё до того как выходят
и садятся на провод
рядом с птицами

я спросила у воробья
он кивнул
да говорит бывает
ты просто ещё не выросла

5

я нарисовала смешного крокодила
у него были очки и два велосипеда
но папа не засмеялся
он сказал убери фломастеры

я хотела показать
что даже крокодил может летать
если его правильно придумать
но он сказал хватит фантазировать

может у папы внутри
живет скучная рыба
которая съедает всё яркое
и оставляет серое

тогда я стану аквалангом
и нырну в его живот
чтобы спасти хотя бы
одно утонувшее воображение

6

мама говорит правильно
а я не знаю где у слов
правильная сторона
и как их гладить по шерсти

я сказала луна бывает зелёная
она сказала нет она белая
но я видела это сама
и даже потрогала

она не поверила
потому что в её книжке
луна была круглая
и вежливая

может мои книжки
пахнут зелёным светом
а её книги
даже не светятся

7

я стала тихой
как воздух в банке
не потому что так захотела
а потому что устала

они говорят сами с собой
но думают что говорят со мной
а я давно вышла
в дверь между словами

там трава умеет слушать
и камни отвечают
и никто не говорит
что я сделала что-то не так

я стала облаком
что не проливается дождём
а просто роняет тень
и немного мечты

Роман Сенчин

На родину

Рассказ

Так бережно, осторожно папа не будил его даже в детстве. Даже в детстве чаще всего называл Алексеем, а тут:

— Лёша-а... Лёш, просыпайся, брат. Просыпайся, пора.

Он проснулся, потянулся с ещё закрытыми глазами. И снова стал сползать в теплоту сна.

— Ну вставай, вставай, — голос папы окреп. — Ты чего?..

И вопрос вытянул в реальность, и он вспомнил, что сегодня предстоит. Что случится.

— Да, встаю.

— Собирайся. Через час выезжаем. — И папа ушёл.

Алексей сел на кровати, которую знал с тех пор, как стал что-нибудь понимать, запоминать. Совсем маленьким спал в корзине, потом в манеже — есть фотографии, а лет с четырёх — на ней.

Часто её не замечал, как не замечают привычное, ежедневное, и только сейчас обратил внимание, какая она удобная. И мягкая, и в то же время не провисает, упругая, но при этом не жёсткая. Не скрипит, не шатается.

Больше он на ней не поспит.

Стал одеваться.

На стуле с вечера лежали вещи. Тёплое трико и брюки, рубаха, свитер, шерстяные носки... Всё это было неприятно и тяжело надевать со сна.

Сенчин Роман Валерьевич — прозаик, редактор, критик. Родился в 1971 году в городе Кызыле. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Автор двух десятков книг, в том числе «Ничего страшного», «Московские тени», «Елтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже», «Нулевые», «Русская зима», «Остановка». Лауреат премий «Ясная Поляна», «Большая книга», Правительства Российской Федерации в области культуры и других. Живёт в Санкт-Петербурге. Постоянный автор «ДН».

Посмотрел на закрывающие окно шторы. Сквозь них пробивалась слабая синева. Предрассветная... Перевёл взгляд на будильник — половина седьмого. В школу он вставал ровно в семь. В семь трещал вот этот будильник.

Старенький «Янтарь» с пипкой на макушке.

Сколько раз Алексей бил по этой пипке ладонью, а то и кулаком. Будильник падал на пол, летел под тумбочку. Он был врагом. А теперь его было жалко — будильник оставался. Те, кто поселится здесь, оставят и будут заводить перед сном или вынесут на помойку.

Жалко, как и стол, за которым Алексей делал уроки и иногда плакал оттого, что не мог справиться. Как и стул, у которого постоянно откручивались болты, соединяющие ножки с сидушкой. Как шторы, шкаф, половик перед кроватью, тумбочку, гантели по два килограмма...

Книжные полки. Две полки над столом.

Теперь они полупустые — самые любимые книги он забирает, они упакованы. Но остаётся ещё много важных. Громадные тома «Детской энциклопедии». Фиолетовый том — «Земля», красный — «Зарубежные страны», жёлтый — «Человек», коричневый — «Из истории человеческого общества»...

Папа, наверное, прав: ему пора читать взрослое, но ведь... Но ведь он вырос с этими томами, по ним узнавал мир. Может быть, во многом они его и вырастили.

И светло-серую модель крейсера «Варяг» жалко оставлять. Да, она вся переломанная — несколько раз падала, от неё отлетали орудия, шлюпки, шлюпочные блоки, раструбы вентиляции, световые люки, винты; из четырёх труб уцелели две, корпус треснул, нижняя палуба проваливается.

На многие месяцы Алексей забывал о крейсере, тот покрывался хлопьями пыли, а потом глаза натыкались, и вспоминались те вечера из детства...

Считалось, что клеит он сам. Но детальки прилипали к пальцам или не к тем местам на крейсере, и папа помогал. По сути, папа клеил, а Алексей только пытался.

А как пах тот клей! Никакой другой не имел такого вкусного запаха. И когда Алексей позже улавливал в воздухе что-то подобное, ему становилось так хорошо, что хотелось заплакать. По тому времени заплакать, по тем вечерам.

Теперь не будет не только тех вечеров, но и этих. Теперь всё будет иначе...

Алексей вышел из своей комнаты в другую, самую большую в квартире. Её называют зал. Здесь жили родители, отдав детям — Алексею и Иришке — бывшие спальни. Детям нужно уединение, уроки делать, музыку слушать, а они уж так, в проходной...

На первый взгляд обстановка в зале как всегда. Шторы, стулья, обеденный стол (на кухне вчетвером не уместиться), диван, сервант. Даже телевизор

на месте. Но присмотрелся — нет, не как всегда. Праздничной посуды в серванте нет, на стене светлые прямоугольники от снятых картин, вернее, репродукций картин Шишкина, Саврасова... И ковёр с пола исчез.

— Доброе утро, — сказал Алексей выходящей из кухни маме и хмыкнул самому себе, вспомнив, что оно не доброе.

Но мама ответила приподнято, почти радостно:

— Доброе, сынок! Иди умывайся.

В руках сумка, с которой ездили на природу. Глаза красные. Плакала или не спала.

— И щётку в футляр положи.

Да, щётку в футляр. С собой, в дорогу.

Чистая голубоватая раковина и мутный шершавый кран. В стаканчике, где обычно стояли четыре щётки, теперь две — его и Иришки.

На стиральной машине футляры. Два соединены, а два разобраны.

Почистил зубы, потряс щёткой, сбивая капли воды, сунул её в одну часть футляра, соединил эту часть со второй...

— Ты там скоро? — голос сестры. Сонный и недовольный.

— Выхожу.

Быстро завтракали с Иришкой вчерашним рисом и жареной колбасой.

Родители сказали, что уже поели, теперь ходили по квартире, что-то собирали, проверяли ящики шкафов. Пустые ящики закрывались со злящим стуком.

Есть не хотелось. Обычно Алексей уходил в школу натощак — лишь полстакана кефира или шубата, несколько глотков чая, — но теперь ел основательно: мама сказала, что обед будет неизвестно когда. И где.

Иришка тоже от завтрака не отказалась, как-то механически забрасывала в себя рис и кусочки колбасы.

— Поели? — Мама вошла на кухню. Вернее, протиснулась между тумбочкой и табуреткой, на которой сидел Алексей.

— Да.

— Спасибо.

— Идите одевайтесь. Нельзя опаздывать. — И стала мыть посуду.

Так буднично, привычно мыла, составляла тарелки, чашки, сковородку на их места, словно вечером снова достанет. Приготовит еду, накроет на стол в зале. И они всей семьёй будут ужинать.

Алексей заворожённо смотрел на тарелки, вилки в маминых руках, и захотелось спросить, а точно ли они уезжают навсегда. Может, ему приснилось, и сейчас они отправятся за город, на речку. Разведут костёр, будут рыбачить, потом пикник...

Мама оглянулась на него. Лицо сделалось испуганным, некрасивым.

— Что?

— Нет, — дёрнулся Алексей, вышел.

В прихожей шуршала одеждой сестра.

Он вернулся в свою комнату и быстро заправил постель. Как учила мама ещё с детского сада.

Заправил и застыл посреди комнаты. Лишь глаза перебегали с одного на другое...

— Ну, — голос папы, — готовы?

Алексей почти побежал на голос.

Прихожая крошечная. Вешалка, полочка для обуви, комодик, банкетка.

Оказались в прихожей все разом. Толклись, мешали друг другу, но никто не хотел первым выходить из квартиры. И никто не просил другого, собравшегося уже, выйти, освободить место.

Вот все одеты. И не выходят. Застыли, как только что Алексей в своей комнате.

Спасибо Иришке. Она, наверное, первой почувствовала наползающую жуть или ей просто надоело стоять:

— Идём?

Мама присела на банкетку и вскочила:

— Да-да, идём.

Вышли. Папа погасил свет. Запер дверь.

Спускались с третьего этажа по тёмной лестнице. Алексей знал все выбоинки на бетонных ступенях, не спотыкался. И остальные тоже.

Для Иришки и для него вся жизнь была связана с этой квартирой, этим домом. Для родителей — почти вся. Жизнь их умерших мам и пап прошла в этом городе...

Бабушки и дедушки, близкие и дальние родственники лежат на городском кладбище. У них там свои большие участки внутри оград. Могилки, столы и лавки для поминальных обедов.

Они, в земле, остаются, а папа, мама, Алексей и Иришка — уезжают.

Лет семь из своих почти пятнадцати Алексей мечтал уехать. Читал про другие города, страны, континенты, хотел там оказаться. Джунгли, мегаполисы, горы с ледниками, берега океанов...

Здесь ему почти всегда было скучно. Он подгонял время, хотел скорее вырасти.

И вот он покидает дом, квартал со своими садиком и школой, свой город... И ему не радостно, а страшно.

Не то чтобы он не вырос. Да, и это тоже — не вырос, — он ещё слабый. Но сейчас он чувствовал, физически чувствовал, что и родителям страшно. На поворотах лестницы, на площадках он секунду-другую видел их лица. Лица были пришибленные и жалкие. Как у маленьких, которые потерялись.

Мама при каждом шаге тихо, но тяжело всхлипывала, будто несла непомерную тяжесть, хотя в руке у неё был лишь пакет с документами.

Двор. Скучный. Три огромных многоствольных тополя. Поломанный стол для домино, качели, тоже сломанные. Две ржавые железки, напоминающие буквы «т», для сушки белья. Верёвок между ними нет. Земля покрыта камнями и битым стеклом. За двором давно никто не следит.

Двор обступают четыре пятиэтажки. Некрасивые, серые, но такие привычные.

Двор забит машинами. Он и раньше не пустовал, сейчас же они повсюду. И у всех на крышах багажники с привязанными горами вещей. Чехлы, коробки, мешки...

Удушливо пахнет гарью. Что-то жгут. Не листья, не ветки. Кажется, тряпки горят, пластмасса, картон.

Возле одних машин соседи, возле других незнакомые. Эти, незнакомые, одеты так, как в их городе не одеваются, и лица у них не местные, не здешних людей... Нет, Алексей встречал таких раньше, но редко — по одному, по два за неделю. Они ходили по улицам неуверенно, жались к стенам домов и заборам, как-то одновременно затравленно и жадно озирались.

А теперь их вдруг оказалось много. И наверняка не только здесь, во дворе.

Некоторые сидели на корточках возле своих машин, другие отвязывали верёвки, держащие вещи.

Один из нездешних шагнул к папе. Папа отдал ему ключи. От квартиры и гаража.

Молча отдал. И человек молча кивнул.

Иришка, Алексей и мама сели в машину. Папа подошёл к соседям, о чём-то с ними поговорил. И тоже сел. За руль.

— Сейчас поедем. Кудряшовы копаются.

Алексею было неудобно сидеть — справа давила набитая сумка для пикников, в затылок упирался край свёрнутого ковра.

Не жаловался. Понимал: жаловаться сейчас нельзя.

Вот вышли Кудряшовы, соседи из второго подъезда. Муж, жена и их сын Владька, на год младше Алексея. Они учились в одной школе, в детстве играли с другими пацанами во дворе, но никогда не дружили.

Алексей знал, что в школе Владьку чмырят, и хотя сам в этом участия не принимал, не испытывал к нему сочувствия. А теперь, увидев его, захотелось обнять.

Владька, растерянный, испуганный, почти нёс свою маму — та рыдала. Негромко рыдала, но сильно, задыхаясь. Ноги её подкашивались и заплетались, тело сползало к земле. Отец, сердитый, с большим свёртком в руках, шёл отдельно.

Увидев соседку такой, и их мама заплакала. Тихо, со стоном.

— Не надо. — Папа сказал это не грубо, но так решительно, что мама замолчала. — Всё будет хорошо. Да.

Машины стали заводиться, папа тоже повернул вправо ключ зажигания. Под капотом не сразу, с усилием, заработало.

— Схватилась, — выдохнул папа облегчённо, погладил маму по плечу. — Что ж, нам хоть... Из других районов гонят просто, а нам собраться дали... Как-нибудь... Не пропадём.

На днях стало известно, что им нужно срочно возвращаться на родину. Алексей удивился — родиной он считал этот город. Ведь он здесь родился. А родители вроде как не удивились, стали собираться. Молча и серьёзно. Расспрашивать их он боялся.

Тронулись. Медленно, караваном из десятков, а может, сотен машин. Двигались сначала по улицам, а потом выбрались на трассу.

Последние здания — склады, заводики, нефтебаза, заправка, в которой, все знали, давно нет бензина. Папа купил с рук, у шофёров бензовозов, как и другие...

Открылась степь. Там, за северным краем её, начиналась их родина, на которой Алексей ещё не бывал.

Елена Албул

Рассказы

Фея с орлиным крылом

Есть, оказывается, люди, которым нравится болеть. Их хлебом не корми, а дай пострадать, помучиться и, главное, всем об этом рассказать подраматичнее. У нас на уроке встреча была с психологом, там про это говорили. И точно, есть такие. Петрова, например. Палец случайно порежет, приходит в школу и сразу: «Я палец распорола! Почти до кости! Кровища хлестала — ужас! Боль страшенная!» И отдельно для учителей добавит умирающим голосом, что писать не может — так больно ей. А бинта на пальце столько, что хватит слона обмотать! Понятно, что теперь ничего не попишешь, причём во всех смыслах. Остаётся только сидеть и страдать. И вот она страдает, вздыхает, и очень ей от этого хорошо. Ну, то есть пальцу-то задушенному плохо, а ей — хорошо, потому что все её жалеют и говорят, какая она героическая, раз в школу с такой смертельной травмой пришла. Смотреть противно! Особенно когда она на уроке сообщение незаметно набирает. Правда, не этим пальцем, другим, но всё равно.

Лично я терпеть не могу болеть. А вот Ирка, моя младшая сестра, ещё не определилась. Так-то она не нытик — если плачет, то исключительно по делу. Но когда заболеет, с большим удовольствием сидит весь день на широкой родительской кровати. Ещё бы! Вокруг книжки, игрушки, альбомы для рисования. Хочешь — рисуй, хочешь — книжку листай, хочешь — придумывай истории всякие, в этом она мастер. И рядом поднос с морсом, с фруктами и обязательно с какими-нибудь особенными пирожными, которые просто так не купят, а заболеешь — пожалуйста. Кому такое не понравится!

Албул Елена Владимировна — поэт, прозаик, музыкант. Родилась и живёт в Москве. Окончила ГМУ им.Гнесиных по специальности «скрипка». Печаталась в журналах «Октябрь», «Москва» и др. Автор книг стихов и прозы для детей. Создатель и ведущая литературнохудожественного клуба «Лодка» и детского клуба «Карусель» в Торговом доме «Библио-Глобус» (Москва). Ведёт авторскую программу «Стихи для детей с Еленой Албул».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2026, № 7.

Но в этот раз она заболела так, что было не до пирожных. И ведь всю зиму не болела, в самые морозы в сад ходила, на новогодние ёлки, где сплошная инфекция, с мамой ездила, и хоть бы хны! А тут за окном март, солнце, всем весело, только сосульки плачут, а она лежит, рук*и* поднять не может. Поднимается у неё только температура.

«Вирус, — сказала наш доктор Кира Леонидовна, глядя на утонувшую в подушках бледную Ирку, — и какой-то очень злой. Но ничего! Лежать, пить и терпеть. А температуру снижать, только если она выше тридцати восьми. Организм должен бороться сам».

Организм боролся, но без толку. Ирка плавилась от температуры, ничего не ела и не то что на игрушки — даже на кота внимания не обращала, хотя Флинт, как болезнь эта началась, сразу рядом улёгся и почти не уходил, лечил её по-своему. Он всегда так делает, если кому плохо: лежит, греет и мурлычет. Даёт понять, что он с твоим организмом заодно, вместе с ним борется. Рядом, конечно, всё время были то мама, то папа, но у них ещё дела, а Флинт может на дела не отвлекаться, только лечить.

Однако температура держалась за Ирку крепко. Снизится на градус и снова наверх прыгает. «Это нормально. Пять дней имеет право», — успокаивала маму Кира Леонидовна. Температура, значит, имеет право, а Ирка, бедная, должна поэтому страдать!

На четвёртый день борьбы мама сказала: «Ничего не поделаешь, сегодня придётся идти на работу. Ты остаёшься за меня и за папу. Будешь не просто братом, а медбратом. Старшим».

У мамы работа на телевидении, и бывают дни, когда её никто подменить не может. Папа тоже в своём институте незаменимый. А у меня как раз каникулы начались.

— Справишься?

Могла бы и не спрашивать. Такой вопрос — замаскированное сомнение, говорил психолог. Неужели мама во мне сомневается? Я вот в ней ни капельки не сомневаюсь. Поэтому я и отвечать не стал. Посмотрел на неё пристально, и она сразу поняла, что чушь какую-то ляпнула. Ну, мне так показалось, по крайней мере.

— Обед на плите, термос с малиновым чаем на столе, вот сироп от температуры, когда выше тридцати восьми поднимется... В общем, следи. Кира Леонидовна говорила...

— Я помню всё, что Кира Леонидовна говорила. Иди уже, мам. Опоздаешь.

Флинт тоже смотрел на маму с некоторым осуждением. «Можно подумать, первый раз болеем», — укоризненно качал он хвостом. Маме очень не хотелось уходить, но опаздывать было нельзя.

— Читай ей сказки Пушкина, они на неё хорошо действуют, почти как колыбельная.

Еле выпроводили, короче.

На цыпочках я вошёл в комнату. Сестра спала. Лучи утреннего солнца осторожно пробирались сквозь неплотные жалюзи, и всё вокруг от такого деликатного освещения выглядело странновато, даже загадочно. Была спальня как спальня, я и не обращал внимания, что и как там у родителей устроено, а тут белое пожелтело, тёмное вызолотилось, и получилось таинственно, как в старинном замке. Я, правда, эти замки только на картинке видел, но в старину наверняка так и было. Без электричества ведь жили.

В золотистом сумраке мощным чёрным пятном выделялись камыши в вазе на комоде. Камыши были толстые, бархатные, похожие на микрофоны, с которыми певцы выступают. Мы их осенью у реки нарезали, мама ещё тогда сказала, что камышовый букет целый год может стоять. Я вспомнил, как Ирка этот букет тяжеленный домой тащила, никому не отдавала. А теперь вот букет стоит, а Ирка лежит...

Я уселся в кресло рядом с кроватью и стал смотреть на сестру.

Она была такая несчастная, такая маленькая. Раньше как-то незаметно было, что она маленькая. Когда Ирка здорова, её очень много. Носится везде, слышно её отовсюду: командует, игры придумывает и требует, чтобы все в них участвовали. А не хочешь участвовать, она тебя всё равно в игру включит, никуда не денешься. Вот, например, сяду я за уроки, отгонюеё, чтоб не мешала, — а она тут же сочинит, что это я не просто так уроки делаю, а в её игре. И ходит кругами, придумывает, какой дракон мне их задал и как он меня сожрёт, если вовремя не закончу.

А тут лежит и молчит. Глаза закрыты, личико бледное, обиженное, рука на книжке с Пушкиным, альбомов с карандашами нет никаких, игрушек тоже. А сама горяченная, я даже с кресла это чувствовал. И маленькая, такая маленькая — просто ужас!

«А вдруг она умрёт», — подумал я и испугался. Так испугался, что вспотел. Руки от страха стали липкими, во рту, наоборот, пересохло. Что значит «пять дней имеет право»? Для маленькой девочки, может, и четырёх слишком много! Я вспомнил, как в прошлом году болел, причём не с такой температурой, а всё равно было отвратительно. А ей, слабенькой, в сто раз хуже! Кости ломит, голова раскалывается, свет глаза режет... Я сидел, думал об этом и сам уже себя так чувствовал, — что лежу и ни пошевелиться, ни сказать ничего не могу. Как бедная Ирка. Прямо картинку видел: лежу на спине я, лежу и болею, лежу и болею, лежу на спине я...

Это что это?!

От неожиданности я перестал болеть и снова стал собой. Ничего поэтического я никогда не сочинял и не собирался, эти строчки сами откуда-то вылезли. Неужели стихи? Но тогда надо в столбик.

Я мысленно расположил строчки в столбик, и они стали гораздо больше похожи на стихи. Чтобы лучше их оценить, забормотал тихонько:

Лежу на спине я,
Лежу и болею...

Ирка приоткрыла глаза.

— Это что?

Разбудил, дурак! Тоже ещё поэт нашёлся!

— Прости, Ириш! Ты спала, да? Попить хочешь?

— Нет,— ответила она сразу на оба вопроса. И повторила свой:— Это что?

— Это стихи. Про тебя.

Ирка закрыла глаза. «Может, снова заснёт», — подумал я с надеждой. Но она, не открывая глаз, сказала:

— Это не про меня. Это про тебя.

— Почему про меня? Я же не болею.

— А в стихах получается, что болеешь.

Ага, это она меня с лирическим героем перепутала. Мы по литературе проходили, что в стихах «я» вовсе не тот, кто это сочинил, а лирический герой. А какой, читатель сам догадаться должен.

— Нет, Ир, этот «я» — это не я, это как будто ты, понимаешь?

— Попить, — сказала Ирка, чтобы со мной не спорить.

Я напоил её малиной. Больных надо поить понемногу, но часто.

— Тебе ведь получше, правда?

— Да.

Ничего ей было не получше, это она так просто. Но Кира Леонидовна сказала, что больному не надо напоминать, что он больной. Наоборот, его надо отвлекать и чем-нибудь заинтересовывать. А я своими стихами дурацкими ей именно что напоминаю...

— А дальше?— спросила сестра.

Я в это время лихорадочно соображал, чем бы её заинтересовать, и вопрос не сразу понял.

— Ты сказал, стихи про меня. Дальше там что про меня? — терпеливо повторила Ирка, типа как для тупых.

— А, ты про стихи... А дальше ничего.

— Дальше не может быть ничего. Должен кто-то прийти.

Константин Комаров

Из цикла «Стихи о русских поэтах»

Пастернак

(1890)

Кипит работа кропотливей,
когда — стихии вестовой —
слова одолевает ливень —
метонимийный, световой,

но лишь решишься мир ершистый
сверстать себе заподлицо —
от удивленья перед жизнью
вытягивается лицо.

На даче спят все, кто устали:
лопата, тяпка, мастерок.
И не звонит товарищ Сталин
спросить о смерти мастеров.

И можно, времена сличая,
писать роман про дух живой.
И чем вернее, тем случайней
залает пёс сторожевой.

Комаров Константин Маркович — поэт, литературный критик, литературовед. Родился в 1988 году в Свердловске. Окончил Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина. Кандидат филологических наук. Многочисленные публикации в журналах «Дружба народов», «Урал», «Звезда», «Знамя», «Новый мир» и др. Участник Форума молодых писателей «Липки» (2010—2024). Автор нескольких книг стихов, среди них «От времени вдогонку» (2012), «Безветрие» (2013) и сборников статей. Лауреат и финалист литературных премий, в том числе «Дебют» (2013, 2014), «Лицей» (2018, 2021) и др. Постоянный автор «ДН». Живёт в г. Липецке.

И оседает, словно дрожжи,
короткий век в огромный день,
очухиваясь осторожно
от наваждения дождей.

Цветаева

(1892)

Вольности мери́ло —
яростный уход,
если жизнь сморило
в обморок глухой.

Выскребать без Мура
страшно чрево дней.
Пусть другая дура
будет поумней.

Но трепещет лира,
что в своей игре
миром растворила
нервные тире.

Воском пламя тает,
плавится герань.
Комнату ломает
воздуха гора.

Смерти вижу гарь я,
помню об Отце,
в сердце выжигая
цельное МЦ.

Маяковский

(1893)

Скатерть болотная в глади кувшинок
сброшена на пол — отныне и впредь!
Голос, проверенный в винных кувшинах,
правду последнюю смог прореветь.

Надо признаться, что вы не могли бы —
бритвенный сей риторичен вопрос.
Нате, послушайте выдохи глыбы —
глыбы, работающей на износ.

Над пепелищем, где совесть проета,
где в складки жира дух слился нырком,
жаркой кометой несётся «Про это»
(в обморок падает даже нарком).

Вскиньте же, сборщики ржавого софта,
в небо глаза от земной ячеи!
Что там желтеет, как жёлтая кофта?
Солнце к поэту идёт на чаи!

Слову и телу такому — стареть ли?
Смерть в никуда — перспектива дрянна ж...
Вот и гудит в сердцевине столетий
русской поэзии вечный дренаж!

Багрицкий

(1895)

Советского пичуги леса
поэкзотичней, чем Цейлон.
Вбирает вечная Одесса
тебя, беспечный птицелов.

Наглядны краски и реальны,
в них звук лежит, как древний бард,
и пляшут пьяные дриады
в зарницах красных, Эдуард.

Но раз уж пройдена проверка
и подступает третья треть,
то умирает пионерка
за то, что можно умереть.

Гремит per aspera ad astra
со всех заточенных сторон,
но глушит аспидная астма
густого называнья звон.

И, убедившись в том, что крепко
плоть времени несёт скелет,
распахнута грудная клетка —
в сипящий, хлюпающий свет.

Заболоцкий

(1903)

Всё раскругляется по новой,
поскольку нет конца в конце:
идут на службу Ивановы,
целуют девок etc.

Мир блещет, как вода на вилах,
и золотится зренья гриль.
Довольна вечная давильня,
неволен мыслящий ковыль.

И ничего не сыщешь проще,
чем ход реальности резной,
когда берёзовая роща
сквозной белеет новизной.

В щепу истёрт всемирный атом,
безумный волк оголодал,
раскинулись просторным адом
Караганда и Магадан.

Но речь поёт над смехом медным,
и, гибель от себя гоня,
слова конкретны и предметны,
как тёплое лицо коня.

Решетов

(1937)

Таков наш старинный обычай:
крест вечный тащить до креста.
Поэзия — та же добыча...
А всё же — немного не та.

Здесь свет говорит из мужчины
последним молчаньем отца,
и рыщут прозренья морщины,
как волки, по лесу лица.

И время, налитое с горкой,
грунтует разбитую грудь.
Слеза, растворённая в горькой,
себя подслащает чуть-чуть.

И шахта земная глубится
в прозрачный небесный ручей,
и Слово идёт на убийство
поверхностных ложных речей.

Но снежным нетающим мелом
дрожит отпечаток руки,
где духом твоим чёрно-белым
прорезаны Березники.

Рыжий

(1974)

Лирический герой не спит,
он незаконен, как комета.
Нектарный источают спирт
слепые звёзды Вторчермета.

Девчонку-душу отогреть
спеши, пока не околела,
покуда счёт не по игре
и в слове нежно зреет дело.

Но если музыки в трубу
тебе отсыпано по-царски,
стихам, диктующим судьбу,
гнать порожняк — не по-пацански.

Они за всё и порешат,
разрулят рифмой все резоны
и пить отправят к корешам
на царскосельские промзоны.

Ты в стрелки эти не встревай,
к тебе, вдоль белосиней бровки,
летит пустой второй трамвай,
не помнящий про остановки.

Инна Кабыш

Замыслил он побег

Рассказы

Кролики и удавы

Перед первым классом мы с мужем решили сделать сыну подарок — море.

Муж напрягся, заработал денег — и отправил нас в Феодосию.

Феодосия — город культурный.

Там кроме моря есть галерея Айвазовского, музей Грина, Генуэзская башня...

Когда мы с сыном обошли всё, я заволновалась — оставалось ещё два дня, а пойти больше было некуда.

И тут во время завтрака — мы жили в отеле «Феодосия» — массовик-затейник объявил, что в город приехал «Живой уголок»...

«Вот и отлично! — подумала я. — А то всё культура да культура, а психологи говорят, что общение с животными делает ребёнка добрей...»

После обеда мы отправились в «Живой уголок».

Благополучно посмотрели млекопитающих, птиц, рыб — оставались пресмыкающиеся.

Мы подошли к террариуму, где обитал, как значилось на табличке, «садовый удав».

Меня удивило, что террариум открытый.

«Наверное, так ближе к природе», — объяснила я себе.

Кабыш Инна Александровна — поэтесса. Родилась в Москве. В 1986-м окончила факультет русского языка и литературы Московского педагогического института. Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и других. Автор книг «Личные трудности», «Переходный возраст», «Кто варит варенье в июле», AVE EVA и других. Лауреат ряда литературных премий, в т.ч. Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера (Гамбург), «Московский счёт». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2025, № 11.

Вместе с нами к удаву подошла мамаша с дочкой, девочкой лет шести, с которой мой сын тут же познакомился.

«Просто повезло, — подумала я, — и природа, и социализация!..»

Мамаша что-то тихо спросила у «дежурного по питону», потом открыла кошелёк и протянула ему тысячу рублей. Дежурный спрятал деньги в карман и убежал, а через минуту вернулся, держа в руках мышь.

— Мышка-норушка! — обрадовались дети.

А дежурный бросил мышь в террариум.

Дети прижались к стеклу.

Питон, увидев мышь, поднялся и стал медленно приближаться к ней.

— Мышка, беги! — закричали дети.

Мышь встала на задние лапы, попятилась и прижалась к стенке.

— Господи!.. — прошептала я, и в ту же секунду питон разинул пасть и стал натягивать себя на мышь, как чулок на ногу.

— Помогите!.. — закричали дети и отпрянули от стекла.

А я вытащила из сумки книжку и, приблизившись к террариуму, дала ею питону по голове.

Питон от неожиданности раскрыл пасть — мышь выпала. Я, содрогаясь от отвращения, схватила её за хвост и бросила на пол. Мышь отдышалась и, помятая и окровавленная, медленно отползла в угол и скрылась из вида.

— Ура!.. — закричали дети.

А мамаша возмутилась:

— Я хотела показать своей дочери «закон джунглей»!..

— Неужели? — усмехнулась я. — А я думала...

— Я заплатила! — перебила меня мамаша.

— Да! — подтвердил дежурный. И, обратившись ко мне, добавил: — Так что с вас штраф...

— Сколько? — уныло спросила я.

— Пять тысяч за жестокое обращение с животными, — отрапортовал дежурный, — и столько же за сорванное просветительское мероприятие...

...В кафе, куда мы зашли с сыном после «Живого уголка», я заказала ему мороженое, а себе сто граммов коньяка.

— Мама, — спросил сын, облизывая розовый шарик, — ведь мышь осталась жива, потому что добро всегда побеждает зло?

— В общем да, — хмуро ответила я. И, пересчитав деньги в кошельке, добавила: — Но какой ценой...

Как меня принимали в пионеры

«...Я материю помню на ощупь...»
В.Коркия

Как абсолютное большинство третьеклассников Советского Союза, я страстно мечтала стать пионеркой — это при том, что моя мать была бабтисткой и водила меня в протестантскую церковь.

Ну и что?

В церкви говорили, что человек спасается не только верой, но и делами — подразумевалось, добрыми.

А пионеры делали, извиняюсь за тавтологию, дела исключительно добрые: собирали металлолом и макулатуру, выступали в детских садах, помогали одиноким пенсионерам.

Поэтому не было в моей — десятилетней — душе никакого конфликта между чувством и долгом — была полная гармония.

...Лучших принимали в пионеры в день рождения Ленина — 22 апреля. Средних — в День победы, 9 мая.

Худших, как это ни парадоксально, — в день рождения пионерской организации, 19 мая.

Замечу: принимали-таки всех, так что «опоздавших к одиннадцатому часу» не было.

Конечно, я — октябрёнок, спортсменка, отличница — должна была стать пионеркой 22 апреля.

Но — человек предполагает, а Бог располагает. 21 апреля у меня воспалились аденоиды. Врач сказал: резать. И добавил: срочно.

«Но, — возразила мать, — у девочки плохая свёртываемость...»

«Ничего, — ответил врач, — свернём...»

«А как же пионеры?» — воскликнула я.

«Мне бы твои заботы», — усмехнулся врач.

А мать успокоила: «В другой раз...»

...Свою первую в жизни операцию я вспоминаю как страшный сон.

Меня ввели в очень белую комнату, посадили в кресло, привязали бинтами (руки к подлокотникам, ноги — к опоре для ног), закутали в белую простыню и поставили на колени миску.

Это само по себе было так жутко, что я почти не почувствовала боли — только увидела, как из горла хлынула кровь.

«Так вот для чего миска», — подумала я и, теряя сознание, увидела, что миска наполнилась до краёв и что кровь была алой, как пионерский галстук, который я взяла с собой в больницу, и хрестоматийные строчки Щипачёва:

Как повяжешь галстук, береги его,
он ведь с красным знаменем цвета одного —

трансформировались у меня в очень личное:

...Он с твоею кровью цвета одного.

Мне до сих пор кажется, что мой вариант сильнее, как всякое личное сильнее общественного.

...Хорошего в моей болезни было то, что для скорейшего заживления горла врач прописал мороженое.

Мороженого в наших — сельских — краях отродясь не водилось, и мама привозила его из Москвы в термосе.

А ещё — по моей настоятельной просьбе — она передала мне в палату любимую игрушку — плюшевого медведя Вовку.

Его появление в моей жизни было овеяно семейным преданием.

Мать родила меня на втором курсе института: они с отцом учились вместе, и им как семейным выделили отдельную комнату в общежитии.

У молодых родителей не было ничего: ни кроватки, ни ванночки, ни коляски, — была любовь друг к другу и крошечному существу, появившемуся на свет благодаря этой любви.

На дворе стоял январь — мороз крепчал.

— Как же я буду гулять с нашей крошкой? — спросила романтичная мать.

— Закутаем в два одеяла, — ответил реалистичный отец.

И тут в дверь постучали.

Мать с отцом переглянулись:

— Войдите!..

На пороге появилась коляска, в которой восседал плюшевый медведь, ещё не знавший, что он Вовка, с двумя бутылками шампанского в лапах. За ним ввалились мамины и папины однокурсники.

...Я назвала медведя Вовкой, пеленала его, лечила ему зубы, ставила отметки, — а теперь, в больнице, стала тренироваться на нём завязывать пионерский галстук.

Я материю помню на ощупь: была она шелковистая, скользкая и прохладная.

И галстук получался — с тремя концами и квадратным узлом посередине.

Я и сейчас, разбуди меня среди ночи, завяжу его правильно (в отличие от мужского, завязывать который так и не научилась, хотя мужчин в моей жизни было гораздо больше, чем медведей).

...В пионеры меня принимали в День рождения пионерской организации.

На линейку, где выстроилась вся школа, внесли знамя пионерской дружины и под звук барабана повязали галстуки нам: двоечникам Валерке Долгову и Валерке Блохину и мне, стоявшей посередине.

И я чувствовала себя совершенно счастливой, потому что была как Христос в окружении двух разбойников.

...На следующий день мать повела меня в церковь.

Шуба

(ремейк «Шинели» Гоголя)

В Советском Союзе не было двух вещей: секса и детской моды.

Логично было бы предположить, что не было детей.

Но дети были, и от двух до пяти лет все они ходили в одинаковых цигейковых шубках — эти шубки, не успевая сноситься, передавались от одного ребёнка другому, как переходящее Красное Знамя.

У меня тоже была такая шубка, доставшаяся мне от дочки маминой подруги Лены (всех девочек в Советском Союзе звали Ленами, Ирами или Наташами). В мою очередь ей пришёл конец.

Дело было так.

...С самого раннего детства все наши родственники и друзья в один голос твердили, что я как две капли воды похожа на папу.

Однажды хлипким мартовским вечером мы с мамой шли из детского сада, и вдруг я увидела идущего нам навстречу отца. Я побежала, на расстоянии двух шагов от него споткнулась — и упала в лужу. Подоспевшая мать подняла меня — мокрую, грязную — и с ужасом воскликнула: «На кого ты похожа!..»

«На папу!..» — разревелась я. А отец рассмеялся и, атеист, сказал: «Бог с ней!» — имея в виду шубку.

Так прекратилось победоносное шествие моей первой шубки, ибо, постиранная и высохшая, она встала колом и в качестве одежды больше не годилась.

Второй была синтетическая шубка — чёрная с поясом, — купленная мне в третьем классе в магазине с грозным названием «Промтовары».

Как же я её ненавидела!

Елена Усачёва

На площади стоял памятник

Рассказы

Ботинок

Это был бежевый кожаный ботинок с тремя голубыми полосами по боку. Я его узнала сразу. И сразу поняла, что его здесь быть не может. Это была тропинка в светлом сосновом перелеске, что отделяет деревню от заливного луга и реки.

Тропинок тут много.

Когда-то, чтобы дойти до святого колодца, нужно было взять от развилки влево, вдоль карьера, и спуститься к болоту, где в малиннике живут злые пчёлы.

Если повернуть на среднюю тропинку, то, пробежав под уклон через земляничную поляну и спустившись с обрыва через луг, окажешься на берегу реки, как раз там, где в неё впадает ручей, текущий из болота. Тут под наклонившимися ивами живут утки и всегда громко крякают, когда рыбаки приходят беспокоить их. Извилистая река в этом месте идёт прямо, вода почти застывает, и рыбаки частенько сидят на высоком берегу, ожидая, что какая-нибудь щука зазевается и схватил блесну. Сколько раз я бегала здесь по утренней росе к отцу. Шлёпки я теряла на половине пути, потому что мокрые ноги нещадно скользили по резиновой подошве. Мне страшно хотелось есть, но без отца мы завтракать не садились, и надо было узнать, как скоро он вернётся. Мы шли домой вместе, по дороге подбирали шлёпанцы. Я жевала оставшийся белый хлеб. Он был мокрый от росы.

Елена Усачёва — детский писатель. Родилась в Москве. Окончила МПГУ им. В.И.Ленина и Литературный институт им. А.М.Горького. Печаталась в журналах «Новая Юность», «Дружба народов», «Октябрь». Автор более восьмидесяти книг для детей и подростков. Лауреат Литературной премии им. Ершова, Литературной премии им. Искандера и других. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2025, № 11.

Правая тропинка шла по краю ельника, миновала затянувшиеся окопы времён Великой Отечественной, спускалась с обрыва к лугу и приводила к мосткам на реке. Течение подъело берег, поэтому тут глубоко. На мостки ходят полоскать бельё, а бессмертные мальчишки ныряют с них кто кривой рыбкой, кто бомбочкой. Место называется омутом и считается страшным. Но никто никогда здесь не тонул. Однажды мы с мамой полоскали бельё и, уходя, попали на колхозное стадо коров. Все знали, что в стаде есть злой бык и боялись его заранее. И, конечно, я сразу испугалась, когда мы вдруг оказались среди десятка коров. Они шли, огромные и тёплые. Мама вскрикнула «бык!», и мы побежали. Коровы не понимали, почему кто-то бежит не в ту сторону, куда идут они, останавливались, смотрели на нас. Мы пробежали под ивами и залезли в лодку, что качалась у берега. «Еле ушли», — выдохнула мама, и я с любопытством стала смотреть на берег, но за низкими ивами стадо было уже не видно. Стало немного обидно, что я так и не рассмотрела быка. Какой он? Коровы чёрно-белые, а он, конечно же, должен быть чёрный, лоснящийся, с торчащими в разные стороны прямыми рогами, с мощной передней частью и поджарой задней. Наверное, перед броском он опускает голову, мотает ею, роет передним копытом землю и тяжело дышит, выпуская из ноздрей облачка пара. Всё это должно происходить на большой арене, засыпанной песком. Такую картинку я видела в книжке.

«Ушли», — говорит мама, и мы вылезаем из лодки, идём обратно к мосткам, где бросили бельё. Земля вытоптана копытами, валяются ещё парящие тёплые лепёшки.

Стадо наверняка идёт от пляжа — это единственное место, где можно удобно спуститься к воде, переждать под низкими ивами самый зной. Появление стада вызывает переполох на пляже. Пацаны срываются с песочка и плывут на другой берег, он крутой, и на нём год от года, всё больше и больше сползая к воде, растут деревья. К ветке одного из них привязана тарзанка. Мальчишки сначала лезут на дерево, ждут, когда последний внизу поймает конец верёвки с палкой и передаст наверх. Но это самые храбрые. Остальные просто ловят тарзанку и прыгают с берега на вытянутых руках. Так однажды сделала и я. Со стороны казалось, что это легко и весело. Но стоило моим ногам оторваться от берега, как руки больно натянулись, пальцы тут же заскользили по деревяшке, и, не долетев до дальней точки, я плюхнулась в воду, больно отбив руки, которые я, конечно, расставила, отпустив палку. Вода ударила в нос, боль выбила слёзы, течение подхватило, и пришлось хорошенько поработать руками, чтобы вернуться к берегу. И уже оттуда смотреть, как мальчишки хватают тарзанку, несётся над водой и, добирая инерцию, красивой дугой летят в воду.

Пока же уплыть с этого берега я не могу, потому что на той стороне коровы. Дядя Сеня на лошади сидит, перекинув ногу через луку седла, и лениво курит.

Напившиеся коровы замирают в воде, закрывают глаза — так их меньше кусают оводы. Я замерзаю. Надо мной всегда смеётся сестра, потому что от воды я сразу покрываюсь большими мурашками, губы синеют. Я специально брала зеркало на пляж, чтобы посмотреть. Зрелище заворожило. Губы и правда были тёмно-синего цвета. Как у покойника. Покойников я не видела, зато видела старую цыганку Валю. У неё как раз и были такие губы. Я тут же решила, что меня всё-таки заколдовали. Совсем скоро я превращусь в цыганку и уйду в табор. Ни для кого не секрет, что цыгане воруют детей.

Пока я мёрзну и грущу о своей незавидной судьбе, дядя Сеня перекидывает ногу в стремя, снимает с седла кнут и короткими движениями распускает его. Коровы замирают. Всё стадо подбирается. Гулкий щелчок заставляет их вздрогнуть и начать двигаться. Мальчишки тут же сыпятся с дерева и плывут на другой берег — поклянчить кнут, чтобы так же красиво щёлкнуть. До этого беспокоить коров дядя Сеня не разрешает.

Коровы уходят под деревья отдыхать, а мы выбираемся на берег. Надо идти за молоком. Мы его берём днём в доме за красивым зелёным забором в центре деревни. Там живёт невысокая бабушка. Но я её никогда не вижу. Моя задача принести литровую банку с приметной красной крышкой, оставить на лавочке около забора, забрать полную банку с такой же красной крышкой. Банка тёплая. И я не могу удержаться, снимаю тугую пластиковую крышку и отпиваю густого сладкого молока с пузырящейся пенкой.

Живот начинает крутить сразу после обеда, голова горит, малейшее движение вызывает тошноту. Мне выделяют большую родительскую кровать. Мать сидит возле меня с тазом и грустно смотрит в окно. Заходящее солнце бросает прыгающие тени на стол. Это качаются от лёгкого ветра ветки сирени около дома.

Я уверена, что меня сглазили цыгане. Они злятся, что в этот раз мы покупаем молоко не у них, а у дома с красивым зелёным забором. А всё потому, что «цыгане молоко разбавляют водой, и это сразу чувствуется».

К вечеру из меня уже вылилось всё, что может вылиться. Я безвольно лежу и представляю свои безрадостные похороны. Приходит злая двоюродная сестра Людка, она смеётся, показывая крупные белые зубы, и говорит, что это из-за коров. Дураки мы, что купались вместе с ними. У кого-то из пацанов тоже понос.

Я засыпаю от бессилия и скорее чувствую, чем вижу, как на кровать садится отец. Диван, набитый соломой, тихо хрустит и чуть сползает на сторону, отчего я начинаю заваливаться на бок. Я знаю, что отец сидит, широко расставив ноги, облокотившись на колени, и смотрит. Ничего не говорит. От его сидения становится неудобно лежать, но я как-то быстро засыпаю и просыпаюсь уже

ранним утром, здоровая, но не способная шевельнуться. Слышу, как ходит отец, собираясь за грибами. Сначала он долго скрипит кроватью, потом тяжело ходит, двигая стулья у стола. Хлопает входная дверь. Звучат шаги по коридору — тренькают потревоженные вёдра на лавке. Задняя дверь взвизгивает невозможно противно, как бы тихо ты ни старался её закрыть. Отец уходит. А я снова проваливаюсь в сон. Хоть перед этим думаю, что страшно хочу в туалет, что надо вылезти и бежать на огород, но сама эта мысль уже вплетается в сон.

Через три часа я сижу на заднем крыльце и смотрю на огород. Вот, за дальней калиткой, от бесконечного картофельного поля, появляется отец. Он идёт, чуть перекосившись от тяжёлой корзины, которую несёт через плечо. Я вскакиваю и бегу к нему, чтобы первой увидеть, что там, под ворохом веток с дубовыми листьями, прячется. А там оказывается много-много кругленьких маленьких опят, светлых шариков. Их быстро перебирают, ссыпают в вёдра. И мы все вместе шагаем к святому колодцу, потому что на «такую прорву никакой бочки не хватит». Бабушка велит заодно принести свежей воды. Я хватаю двухколёсную тележку, к которой уже прикреплён большой бидон. Я маленькая лошадка, и я скачу по дорожке с тележкой. Звонко гремит бидон на корнях сосен. С пригорка я несусь сломя голову, потому что противный бидон не желает тормозить, а, наоборот, толкает меня вперёд. Мне не хватает сил свернуть, и я влетаю в малинник, тревожа пчёл.

Бьющему на дне оврага ключу сделали небольшой деревянный сруб. Если склониться, то видно, как песок на дне в одном месте взбуравливается. Вода в колодце холодная, но не такая, как в ключе у пляжа. Там ключ называется бурилкой, и есть легенда, что появился он не так просто, что его пробурили, потому что что-то в этом месте искали. Может быть, и нефть. Ничего не нашли, вынули свои копательные аппараты и уехали, оставив яму с бьющим ключом. Вода здесь с железным привкусом. Она делала всё вокруг охристым. Мы тоже там берём воду. Специально идём на пляж с ведром, чтобы на обратном пути зачерпнуть воды. И если сразу отпить через край ведра, то начинало ломить зубы. Отец нёс ведро от пляжа на взгорок, тут останавливался, садился на траву отдыхать, а я сразу бежала под обрыв смотреть гнёзда ласточек.

Это отец ходил в тех самых ботинках с тремя грязно-голубыми полосами. Они были неубиваемы.

Ходил он в них и к святому колодцу, и на речку, и снимал только когда надо было переодеваться для возвращения домой в город. Отец родился перед войной в Москве, но потом был увезён матерью в деревню, где и вырос. Он был совершенно городским, но сохранил деревенское в повадках. Глядя на далёкий лес за картофельным полем, на ползущую из-за него тучу, всегда говорил, что эти тучи идут от города. Почему-то они всегда шли этим путём. Ещё он никогда

никуда не ездил, считал это ненужным. Ему было достаточно того места, где он находится в данный момент. Всегда закрывал окна, боялся сквозняков. Любил новую красивую одежду.

Я маленький Саша, кудрявый бараша,
Я был в Вифлееме и видел там чудо.
Там свет растворился, Христос народился.

Этот стишок он мне частенько читал и улыбался. Говорил очень мало и только по делу.

Когда в деревенском доме стало тесно для всех, он сделал маленькую пристройку и назвал её кают-компанией — после школы он три года служил на флоте на Новой Земле. Рассказывал, как во время службы светлыми летними ночами играли в волейбол, бегали смотреть на первые ядерные испытания. В кают-компании всё было маленьким, и меня эта крошечность умиляла. Только раз я видела, как он плакал. Не когда умерла его мать, а через год, когда по вине родственников сгорел дом.

Для нас со старшей сестрой пожар стал новым приключением, когда мы по очереди жили у всех родственников — в одном доме, потом в другом, потом в третьем, пока шла стройка.

Когда стройка завершилась, я опять могла наблюдать с новой террасы, как от дальней калитки, за которой уже нет картофельного поля, а есть бесконечно-заросший луг, к дому идёт отец, чуть скособочившись от тяжёлой корзины.

У отца было двое братьев, старший и младший. Младший давно умер, пьяным попав под автобус. Злая Людка была его дочерью. У старшего было двое сыновей. И Людка, и эти сыновья были сильно старше нас с сестрой, и бабка успела растратить всю свою скудную деревенскую любовь на них, нам не осталось, и мы были нелюбимы. И, наверное, из-за этого доставляли больше всего хлопот и волнений. Добирали недостающего внимания как могли. Искренне любя всех. Как и отец. Он не допускал, что в семье может быть по-другому, а поэтому отдавал всё другим. Из-за чего на него всегда сердилась мать. Она единственная среди всех имела высшее образование, занималась сплавами для обшивки космических кораблей и даже не пыталась изображать из себя приветливую.

Отец с распадом Союза много пил и довольно рано умер. Вышел на пенсию, собирался перебраться жить в деревню, но заболел, и в начале декабря его не стало.

Мы потом выбросили его вещи. Все-все.

Как через несколько лет на дороге мог оказаться этот ботинок? Собаки его из помойки вытащили или сам он пришёл, чтобы встать на развилке дороги?

Я смотрела на него, и меня накрывало тоскливое ощущение бессмысленности прожитой жизни. Всех этих походов за водой, в лес за грибами, рубки дров и долгого сидения около печки. Отец писал маслом, сочинял стихи и даже начал роман о любви. Но в жизни любви у него не было. Он работал на заводе, отпуск проводил только в деревне. Он не любил перемен, поэтому и умер. И я долго злилась на него, не понимая, как можно так бестолково прожить жизнь, пока не увидела этот ботинок!

Я сразу забыла, куда хотела пойти, развернулась и пошла домой.

Некогда большой участок сейчас поделён между переругавшимися родственниками. Злая Людка отгрохала на своём пятачке большой каменный двухэтажный дом, держала кур, отчего к нам побежали крысы, а потом пчёл. И мне, конечно, надо всё продавать и уезжать отсюда, но я не могу расстаться с лесными дорожками, рекой, ледяной водой бурилки и бесконечным горизонтом. За рекой берег медленно взбирается по склону. И от этой перспективы всё вокруг становится бесконечным. Это очень красиво.

Может, это меня держит? А может, что-то другое...

На площади стоял памятник

* * *

На площади стоял памятник. Это был памятник очень известному поэту. Идущий мимо человек смотрел на него и думал: «Вот памятник известному поэту». А памятник ничего не думал. Он не знал людей на площади.

Так памятник стоял и стоял, опустив голову. Вздыхал, когда назойливые голуби садились ему на плечи. Однажды осенью около памятника остановилась девочка.

— Здравствуй, я Маша! — сказала девочка.

— Здравствуй! — удивился памятник.

— Я тебя знаю! — улыбнулась девочка.

— Теперь и я тебя знаю, — ответил памятник.

С тех пор памятник внимательно смотрел на людей. Когда появлялась Маша, он думал: «Вот Маша!» А Маша думала: «Вот памятник знакомому поэту».

* * *

Наступила весна, снег начал таять. Сугробы вокруг просели и почернели. Из-под них побежали ручьи. Вода в ручьях журчала, перекатывалась на маленьких препятствиях.

Елена Севрюгина

Ребёнок в тебе рассмеётся

* * *

И я хочу в тот непочатый край,
где, может, рай, а, может, и не рай,
где быть не может, сколько ни проси ты,
морозного узора на стекле,
где жаркая, как солнце, Карменсита
размашисто танцует на столе.

Пусти меня, веди меня туда,
где тёмен свет,где редкая звезда
становится соблазном звездочёта,
где, зыбкий сон зарифмовав с дождём,
седой поэт перебирает чётки,
забыв, когда и где он был рождён.

Я здесь своя — я запросто смогу
стать холодом и светом на снегу,
огнём в глазах разбуженной лисицы,
мерцанием бессонного ручья —
я буду здесь не человек, а птица —
бесшумная, свободная, ничья ...

Севрюгина Елена Вячеславовна — поэт, литературный критик, культуртрегер. Родилась в 1977 году в городе Туле. Окончила (1999) гуманитарный факультет Тульского государственного педагогического университета. Кандидат филологических наук, доцент. Многочисленные публикации в журналах «Новый мир», «Урал», «Знамя», «Звезда» и др. Автор поэтических сборников: «Раздетый свет» (М., 2023), «Триптих» (в соавторстве с А.Фамицким и К.Ширшовой; М., 2025), «Люди с человечками внутри» (М., 2026), книги эссе «О стихах и стихиях» (М., 2025) и др. Лауреат международных премий, в том числе им. Левитова (2025) и др. Живёт в Москве.

Я буду здесь...когда-нибудь потом...
Пока же, проплывая под мостом,
меня встречает выводок гусиный,
и в сердце проливается покой,
но вдоль реки берёзы и осины
отравлены ноябрьскою тоской...

* * *

Анне Харлановой

в Ельце доверяешь приметам,
в полёт отпускаешь слова —
здесь в лавке предложат конфеты,
а после уже кружева,
здесь что-то царит в атмосфере,
здесь манят своей простотой
и памятник в пушкинском сквере,
и Бунина бюст золотой,
и видимый с улочек узких
собор — голубая свеча,
и детище братьев Валуйских —
пожарная каланча.
Проснёшься, сентябрьскому солнцу
слегка улыбнёшься — и вот
ребёнок в тебе рассмеётся,
потом облегченно вздохнёт,
церквушек потянутся сонмы,
пригрезится город иной —
купеческий, приторно-сонный,
бездумный, медово-хмельной...
к домам после тягот учебных
спешат гимназисты гурьбой
а воздух, степной и вечерний,
душица да зверобой ...
в мирок, обаятельно-малый,
шагнёшь с просветлевшим лицом
отъявленным провинциалом,
иными словами — творцом.

* * *

на самом деле, в нашем мире нет
ни грустного, ни вредного, ни злого —
зато в нём есть бессмертие и слово,
как этого бессмертия обет,
как чей-то тихий свет на склоне лет

«от жажды умираю над ручьём» —
шептал поэт, чьё прошлое двулико,
ему внимали рожь и повилика
в лесу, давно забытом и ничьём...
он все ещё стоит над тем ручьём

и те стоят — с глазами цвета сна,
смотрящие куда-то за пределы...
надсмотрщики небесного отдела
за ними наблюдают из окна,
и рушится великая стена

ещё одно столетие назад,
потом вперёд ещё одна эпоха.
короткий миг от выдоха до вдоха,
и кто бы что однажды ни сказал —
иди вперёд, не закрывай глаза

смотри вперёд, не думай ни о чём —
счастливый мотылёк, степная птица —
пока смертями время колосится,
ты, словно ангел, за его плечом —
тебе ни смерть, ни время нипочём.

Ирина Краева

Сказка

Всё было звонким в те дни. Бренчал по подоконникам дождь — уже началась осенняя непогодь, но не скучная, не угрюмая, а с перламутровостью в небесах, когда так хорошо помечтать. За прозрачными стенками киосков толпились красно-жёлтые «болгарские» яблочки, только куснёшь — брызнет фонтанчик. В тучах пела Адмиралтейская игла. Колокольно, сосредоточенно гудел куполом Исакий. И когда они заглядывались на храм, на Адмиралтейство, Эрмитаж и коней на Аничковом мосту — на всё, прежде виденное лишь на картинах, им казалось: старинная книга вдруг ожила, они идут по распахнутой гигантской странице...

Звон стоял в их головах — от свободы, от предвкушения настоящего «взрослого» счастья, от острого любопытства: что шепчет, что колдует судьба? А шепчет-то прямо сейчас...

Пять первокурсниц и пять первокурсников факультета журналистики топали по Первой линии к метро и обсуждали только что сданные профессору Ступникову переводы с английского.

«Какой же дурак!» — подумала Ирка, слушая Юрчика — высокого, будто махом укрупнившегося без потери весёлой припухлости малыша, с джунглями на голове. Юрчик, как и она, почти ничего не понял из зачитанного профессором текста и, «чтобы уж совсем не скучать», наколбасил в своём переводе три страницы детективной белиберды про инопланетян в смокингах, гипнотизёра и рыжую красотку, о которых ни слова не упоминалось в рассказе, предложенном для перевода... «Какой же дурак!»

Ирина Краева (Пуля Ирина Ивановна) — прозаик, журналист, педагог. Родилась в 1966 году в Кирове. Автор десяти книг, в том числе «Дети неба, или Во всём виноваты бизоны» (2018). Лауреат ряда литературных премий — имени Владислава Крапивина, имени Александра Грина, «Согласование времён», «Новая детская книга» и др. Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 11

Возле метро она свернула налево, в библиотеку. А он отправился лопать бифштекс с нашлёпкой яйца в «студенческий рай» — кафе «Белочка» на углу. Без маминого борща с предварительно утомлёнными на сковороде помидорами Юрчик каждый день превращался в голодного волка.

Тогда они разошлись в разные стороны.

А всего через пару дней он пересел с левого ряда, если считать по ходу электрички, в правый. И пусть поехал вперёд спиной, но зато вместе с солнцем. Увядающий пейзаж был оживлён, обласкан расшалившимся светилом. Светило разбрызгивало окрест улыбки-лучи.

Юрчик просто сел к солнцу поближе, а оказалось — к жене. Но до того, чтобы девочка — коротко стриженная, в оглоблях очков, делавших её лицо только более детским, — навеки стала женой, пришлось подождать около года. Но именно в тот день, вернее, в тот вечер, уже ближе к ночи, всё главное оказалось определено.

Пять первокурсниц и пять первокурсников жили тогда на базе отдыха учителей, что под Старым Петергофом. Им не хватило мест в студгородке на Новоизмайловском проспекте, и поэтому деканат втыкал «пилигримов» на несколько дней то туда, то сюда. На сей раз — в двухэтажные деревянные халупы педагогической базы (горячей воды нет, щели нежно сквозят, а ночами из угла в угол швыркает мышь).

В тот день они сговорились праздновать день рождения Сашки Быстрых именно там, а не в общаге на Новоизмайловском, где можно было нарваться на преподов. Сам именинник по какой-то причине застрял в Питере, но это был не повод отменять сабантуй. Тем паче что староста получил на всех «стёпу», правда, раздать её не успел, но прикупить пять бутылок сухого «Ркацители», молодец, догадался.

К тому времени, как Ирка и Юрчик добрались-таки до базы, компания разрослась до двадцати пяти человек, истребила вино вместе с шоколадными батончиками, а стипендию староста, грохнувшись с мосточков в озеро, утопил — разноцветные купюры качались довольными толстыми водорослями возле каменистого бережка. Староста — для первокурсного подшёрстка уже дядя: недавно демобилизовался, — стоя по пояс в воде, не скинув парадного пиджака, радостно что-то вопил и закидывал в промокший рюкзак спасённые купюры... Потом все искали верёвку и, чудом отыскав её возле сарая, натянули между двумя соснами; сами собой отыскались и прищепки. Всей гурьбой развешивали двадцатипятки и десятки на просушку... Хотели разжечь костерок и погреться. Но огонь в кутерьме предпочёл помолчать.

Разговорился костёр только под Юркиными руками. Юрчик повалил глупую, кое-какую конструкцию костровища, изваял на её месте честный

остов — сучок к сучку, веточка к веточке. Не спеша чиркнул спичкой... И когда пламя выпростало из веток яркие рукава, оказалось, что протягивают к нему ладони двое — Ирка и Юрчик. Остальные разбрелись по кроватям и поваленным на пол матрасам, угомонились.

Ночь была зябка и зыбка. В зябкой и зыбкой ночи тронулась в путь зыбка любви. Но — чу! — до самого главного оставалось ещё около получаса.

Их обступили ели, обнявшись лапами, уберегали от едкого ветерка двух детёнышей, помешивающих, варящих первый свой костерок. Тёмные берега покачивали, как чашку в ладонях, Финский залив. Вода была горькой и терпкой. Из-за прибрежных каменных глыб, выставивших средь тягучих волн сторожкие лбы, надвигался туман. И казалось, ступая с камня на камень, можно уйти далеко — туда, куда ушло всё, что прошло, или туда, где всё ещё будет. Или что оно — прошлое ли, грядущее ли — вдруг само придёт из тумана, мокро шлёпая по башковитым камням.

Напряжённой была тишина и глазастой. Зорко, с усмешкой смотрело на них чёрное око ночи: что, что получится у этих двоих?

Ирка с детства не доверяла ночи, до зубовной дроби мёрзла от её мезозойской чёрной дремучести. Будто где-то поблизости раздували ноздри, ворочались длинношеие, толстохвостые диплодоки...

Костёр всё-таки вырвал клочок из её детского страха и развеял по ветру. Юрчик раздул высокий огонь. Она подтянула колени к подбородку, ссутулилась, стараясь не выпадать из колышущегося от ветра светлого облака. «И вовсе он не дурак».

Она бы ему помогла сложить костерок повыше, но опасалась: сделает только хуже, огня поубавится. Но хорошее дело так хотелось продолжить, тоже — раздуть до небес. И закутаться в светлое, потеплей, тоже хотелось.

— Шаль... — пробормотала Ирка. И, глядя на Юрчика, стоящего на коленях перед огнём, заговорила взахлёб: — У тебя была бабушка? У меня была. Волшебница. Волшебницы сочиняют сказки, которые сбываются. Её сказки всегда сбывались. Не только про подарки от Деда Мороза. У людей, которым она говорила, дескать, будет всё хорошо, так и случалось. Родня это знала. Мои тётки и дядьки специально к ней приходили, чтобы услышать доброе про своё будущее. — Она помолчала и с удивлением выпалила: — Волшебная сила её была от благодарной любви.

Эти слова будто сами собой сказались — для Юрчика. Никогда прежде она не думала ни о какой благодарной любви... А сейчас стало вдруг совершенно понятно, что вот же она, и правда же есть — необычная, совсем необычная любовь.

— Расскажи, как это, не понимаю. — Он направлял суком корявые веточки на прокорм огня, они сами туда и стремились, хотя и невпопад. Раз зашумел

Арина Обух

Петербуженка по имени Ленинград, или «Рай — это безопасное место. На Земле я такого не знаю»

Рассказ

У моей подруги в паспорте необычное имя — Ле. Мама назвала её в честь Ленинграда.

А саму маму звали Россия. Это была хрупкая вьетнамская женщина.

И было у России две сестры и три брата. Если соединить все их имена вместе, — получится такая фраза: *Если Германия и Америка полюбят Россию, то будет мир во всём мире.*

Невыполнимый алгоритм.

Когда на Вьетнам стали падать миротворческие американские бомбы, России было десять лет. Она жила в Хайфоне и от войны пряталась в книжном шкафу.

Два её старших брата — семнадцатилетние Германия и Америка— отправились воевать. Но перед тем, как уйти, они заперли книжный шкаф, объяснив маленькой России, что ей пока рано читать Толстого и Достоевского: «Такие книги могут читать только взрослые, — строго сказали братья и ушли в бой».

Россия сломала замок и освободила Фёдора Михайловича и Льва Николаевича из заключения. Стала читать книги под одеялом, чтоб родные не видели. Из-за этого у неё село зрение, но появилось чувство к стране, именем которой её назвали. Россия — это красиво и загадочно... Россия находится в теле

Обух Арина Павловна — прозаик, художник. Родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Окончила Художественно-промышленную академию им. А.Л.Штиглица. Член Союза писателей России и Союза художников России. Печатается в журналах «Звезда», «Знамя», «Юность» и др. Автор книг «Выгуливание молодого вина», «Муха имени Штиглица» (впервые — «ДН», 2017, № 5), «Следующая остановка — “Пионерская-стрит”» и др. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 6.

Советского Союза. Много непонятных слов. Одно ясно: «Россия поможет!» — так взрослые говорят.

— А если не поможет? — спрашивала маленькая тёзка.

— Тогда мы умрём, — отвечала бабушка.

В итоге у маленькой России было два страха: что большая Россия не поможет и что любимые братья накажут за ослушание и сломанный шкаф.

Не накажут. Оба погибли. В живых остались только Мир, Любовь и Россия. Вернее, не целый Мир, а половина: на вьетнамском слово «Мир» состоит из двух слов: «Hòa Bình». Брат Нта выжил, а самая младшая сестра Bình — нет.

А за двух павших в бою братьев — двум членам семьи был дан шанс побороться за право учиться в Советском Союзе.

И, конечно, маленькая Россия исполнила свою мечту: она поступила в институт в Ленинграде. А её брат поехал учиться в Ростов-на-Дону. Во Вьетнаме осталась Любовь, а как иначе?..

Россия приехала в Россию. Можно представить это знакомство: маленькая вьетнамская девушка впервые увидела Ленинград, впервые увидела снег... А ещё её поразили юбки — она не знала, что это такое... Во Вьетнаме все носили штаны, а тут такая свобода: ветер целует ножки.

На дворе был конец 70-х, она приехала учиться на химика-технолога. Говорят, она была девушкой серьёзной, «книжный червь». Женихи стучались к ней с цветами, а она отворяла и говорила: «Не мешайте мне учиться!» — и хлопала дверью.

А во Вьетнаме осталась не только сестра по имени Любовь, но и тот, от кого летели письма. Не просто письма, а стихи. Ну кто ещё нужен книжной девушке с именем Россия? Конечно, поэт.

У поэта была семья, однако стихотворная переписка длилась долгие годы. И однажды в стенах общежития Лесотехнической академии раздалось:

— К России жених приехал!..

Да. Но потом его распределили в Чехословакию. И вновь полетели стихи в конвертах, но уже не в Ленинград, а в Петербург.

А из стихов появилась Ле. Петербурженка по имени Ленинград. Новая жительница общежития.

Имя выдумал отец. Назвали дочку в честь любимого города. Можно было бы сказать, что в честь «прошедшего времени». Но во вьетнамском языке нет времён. Вернее, есть частицы, которые отвечают за прошлое, настоящее и будущее, но все глаголы всегда в форме настоящего времени. Таким образом в языке присутствует некая вечность. Если вьетнамский человек говорит «люблю», то получается «навсегда люблю».

Когда акушерка дала России на руки новорождённую, то ей показалось, что Ле очень маленькая, и она стала ласково называть её Сиу. В переводе с вьетнамского это значит «малыш», «крошка»...

Крошка Ле, апрельский цветок 1993 года, росла в общежитии до двадцати двух лет. А Россия стала кандидатом химических наук и изобрела собственный метод получения бумаги из бамбука. И могла бы запатентовать это открытие, но... в 90-е годы России было не до этого. И она открыла точку в «Апраксином дворе».

— Один шаг от Невского — и ты в другом государстве, на Апрашке, — рассказывает мне спустя годы уже взрослая Ле. — Там расположен магазинчик, напоминающий о моей маме... Честно говоря, магазин работает в убыток, но он мне дорог. Это история женщины, которая, не зная языка, приехала одна в чужую страну учиться, осталась и решила создать свой вьетнамский уголок в большом гранитном Петербурге. Когда я беру в руки вьетнамскую плетёную корзинку, то чувствую запах мамы, — она всегда вот так пахла после рабочего дня...

Перед смертью мама Ле поверила во всех богов. Стала многоконфессиональна, как её тёзка. Она посещала и православную церковь, и буддийские храмы...

— Мамы не стало в 2016 году.

Ле говорит это и сама себе не верит: мама ведь со всеми богами договорилась. Мама здесь, просто её плохо видно.

Мама иногда приходит во сне:

— У нас мало времени, расскажи мне, как твои дела. Скоро ты проснёшься — и меня не будет.

...И снова в кадре огромный город и юная вьетнамская девушка: Ле не хотела учиться в главном петербургском Университете на факультете международных отношений, но она исполнила желание мамы. И получила магистерскую степень.

Но стала актрисой.

И отказалась от своего имени.

— В школе меня называли Лена, я не отзывалась. Просто не понимала, что обращаются ко мне. Когда учительница говорила «Елена, встань!», я продолжала сидеть.

Не чувствовала себя ни Леной, ни Ленинградом.

Она ощущала себя маленькой, крошечной, то есть Сиу, как называла её мама. И она стала Сиу Нгуен.

Вьетнамцы смеялись над её именем, потому что оно никак не рифмовалось с её ростом: крошка Сиу переросла всех соотечественников на две головы.

Малышка-великан. Да и вся её внешность была совсем не вьетнамской, а скорее африканской: губы! глаза! рост!.. Всё чужестранное, нездешнее, манящее. Волосы — два метра чёрной ночи.

Всё детство русские ребята называли её нерусской, а вьетнамские — невьетнамской.

А душа была русская, страдающая, достоевская.

— У неё были попытки самоубийства, но она вряд ли расскажет, — поделился наш общий друг.

Не рассказала.

Знаю только, что в 2016 году она осталась одна в семимиллионном Петербурге.

— Я даже пробовала устроиться фотографом на порностудию, — говорит она и смеётся. — Но как-то не заладилось: в первый же день меня стошнило на съёмках, и меня уволили.

А вьетнамские родственники ждали, «когда она станет человеком», что означало нормальную работу в офисе. Но... в итоге она сдала маленькую квартирку на Старо-Невском (наследство от мамы) и стала жить по друзьям. С ощущением, что вот-вот начнётся кино, где она сыграет.

Лучший друг подарил ей абонемент на актёрские курсы. Она пошла и на актёрское, и на пение, и на бокс.

— Мастер по вокалу говорил, что я стану «Чёрной жемчужиной России». Мы даже ездили на телешоу «Голос», но всё сорвалось из-за моей застенчивости. После этого мастер велел мне записаться на бокс — для раскрепощения. А в детстве я хотела стать писательницей, которая сочинит бестселлер под названием «Любовь не умирает никогда».

Мастер, Андрей Владимирович, был строг, требователен, в каком-то смысле беспощаден. Фразы таких людей остаются в голове на всю жизнь. Они либо ломают, либо делают человека очень сильным.

Сиу пошла на бокс и стала сильной.

Как-то на одной из петербургских улиц она увидела, что мужчина преследует девушку. Вечер был поздний. И она изменила маршрут. Стала идти рядом с девушкой, готовая к обороне. От Сиу исходила сила, и мужик свернул в арку, растворившись в одном из дворов-колодцев.

Девушка была спасена, и Сиу пошла своей дорогой.

Она шла и плакала. Мир был неправ.

А время спустя Сиу пригласили сняться в кино, причём сразу в четырёх фильмах. Роли, правда, были не главные. Однако даже на втором плане она выходила на первый.

Увы, нет пока такого режиссёра, чтобы снял фильм про Ле и Россию... Наверное, для сюжета снова должен появиться мужчина.

— Ты влюблена в кого-нибудь?.. — спрашиваю.

— Уже нет.

— А кто он был?

— Живёт во Вьетнаме, но француз. Как сказали бы мои бабушка и дедушка — колонизатор.

— А с отцом общаешься?

— Все диалоги с ним были только в тетрадке, я их выдумывала и записывала. В жизни всё по-другому, мы редко видимся. Знаю только, что он — член вьетнамской литературной ассоциации. И ещё он говорил, что во Вьетнаме есть улица, названная именем нашего прадеда-поэта.

— А как зовут прадеда?

— Я не знаю.

Сиу не хочет знать о себе всего. Вернее, не спешит, оставляет тайну.

Её мама, Россия, крестила Сиу в православном храме, но имя, данное при крещении, не сказала. С другой стороны, у Сиу и так два имени, а третье — пусть знают только ангелы, их работа.

— А что такое рай для тебя?

— Рай — это безопасное место. На Земле я такого не знаю.

Иван Макаров

Не пройдёт и не забудется

* * *

Трудно жить на ветру
Над редисами и чесноками.
Поскорей бы зима —
На законный покой удалиться.
Огородное чучело машет пустыми руками,
И к нему никогда не летают влюблённые птицы.

Поскорей бы зима —
В деревянный сарай за кустами
Отдыхать в темноте под метели напев хрипловатый...
Может быть, в рукава забредут молодые мышата,
Запищат, запоют, защекочут своими хвостами...

А пока выживать на ветру на виду у прохожих
И руками махать, птиц пугать — невесёлое дело...
Одиноко стоит
Человек на живого похожий:
Деревянные кости, фуражка,
Почти невесомое тело.

Макаров Иван Алексеевич — поэт, прозаик. Родился в 1957 году в Москве. Окончил Химико-технологический институт. Работал инженером, слесарем, сторожем, дворником и т. д. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Волга», «Плавучий мост» и др. Живёт в Калужской области.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 9.

* * *

В обстановке зимы и разрухи,
Несмотря на принятие мер,
Продолжаются в мире разлуки,
И от них разрушается мир.

Выдь на море, чей стон раздаётся?
В море штиль, кипарисы в снегу... —

Кто-то с кем-то опять расстаётся
На курортном крутом берегу.

* * *

Сельдь, блестящая до боли, —
Как живой железный свет.
Кто живёт в растворе соли —
Выживает или нет?

Отрешённая улыбка,
Дело соли и воды.
Как живая, плачет рыбка
В тесноте другой еды.

Сотрапезники во власти
Вдохновенья и тоски.
Сельдь разрезана на части,
Сельдь разъята па куски.

Мы, наивные, как танки,
Много бед — один ответ,
Рыбам жесть консервной банки
Сообщает лунный свет.

Начало века. Бутово

И кое-как, и клином клин
От Полигона до предела...
Мы на Подольск, как на Берлин,
И никому до нас нет дела.

И кое-как, и сверху вниз,
И сновиденья достоевские...
Перетасовка гладких лиц:
Советские, антисоветские...

И кое-как, и наугад...
Металлолом и спирт этиловый...
Предела нет и нет преград.
Не забывай про это, милая!

Вперёд!
Или наоборот?
По наши души точат косы.
На перекрёстке Дон Кихот
Лакает пиво с Шерлок-Холмсом.

* * *

В непрерывной неравной борьбе,
В стороне от великих задач,
Вдалеке от великих побед
На реках Вавилонских не плачь!

Время действия: каменный век.
И у них, и у вас, и у нас...
Ни в одной, так в другой голове
То и дело двенадцатый час.

Отправляясь в пустынный поход,
Не имей ни рублей, ни друзей...
...Одинокий летит самолёт.
Он воздушный, но всё-таки змей!

На реках Вавилонских у нас
То и дело пылают мосты,
И оскалы звериных гримас
Искажают родные черты.

...Пусть разлука и плен без прикрас...
Мир чужой и чужая война...

На реках Вавилонских весна.
На реках Вавилонских у нас...

* * *

Не пройдёт и не забудется.
Ни удачи, ни грехи...
Стадион, деревья, улица.
Орхидеи, лопухи.

В синем небе бродят кактусы,
А в полях — одна герань...
За бортом пугают градусы —
На два ниже, чем вчера.

Время сырости и сытости.
В романтическом бреду
Дни пройдут, и дети вырастут,
Потому что дни пройдут.

Екатерина Бушуева

В моей памяти навечно...

Карта судьбы Екатерины Бушуевой вместила историю советскую, трагическую и победную, горькую и счастливую, и три десятилетия постсоветских. Родилась Екатерина Герасимовна Фоминых (Бушуева по мужу) в посёлке Озёрное-Кузнецово Алтайского края в 1927 году, а по паспорту — в 1928-м. По-видимому, родители убавили дочери год, чтобы её позже привлекли к работе на лесоповале: в 1931 году крепкая крестьянская семья была раскулачена, все, от старшего поколения до самой младшей внучки, трёхлетней Катерины, были сосланы в Сибирь — в село Подгорное Томского округа. Судьба была милостива: и родители, и все шестеро детей Фоминых выжили в ссылке. В 1945 году Екатерина окончила в Подгорном школу, в 1948 году поступила в Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (ныне Сибирский государственный университет геосистем и технологии). В институте познакомилась со своим мужем — Андреем Васильевичем Бушуевым, будущим полярником, специалистом по ледовой информатике, лауреатом Госпремии СССР. После замужества уехала в Ленинград, долгие годы работала в Ленгипротрансе, исколесила весь Советский Союз, три года работала в Казахстане. Есть частицы её труда и в проектировании БАМа. Карта её судьбы — ещё и карта дорог.

Воспоминания Екатерины Герасимовны Бушуевой — крупицы народной памяти, голос времени.

Сибирская колба[1]

Все времена года в Сибири яркие, выразительные.

Щедрое лето часть дней отдаёт весне, а последние дни — осени, для себя оставляет только зарницы! Ждёшь, ждёшь лета — и вдруг на горизонте заиграли зарницы: значит, лето прошло.

Осень — склонились тяжёлые грозди спелой черёмухи.

В Соловьёвской тайге заготовка кедрового ореха.

[1] Колба — местное название черемши.

На Бакчарском болоте красные скатерти — клюква рассыпана.

Берега речек пастелью окрашены. Всё как на ярмарке, всё напоказ. Осень пришла... Включили дожди... Дождь на всю осень — до самого снега. Хлюпает грязь под колёсами, хлюпает грязь под ногами прохожих... Хлюпает, хлюпает... Осень пришла.

Зимняя картинка одна: ты такой маленький, мороз такой лютый, солнце окутано радугой, скрип снега под полозьями и под твоими пимами рваными.

Треск льда на реке, как удар колокола, оповещает приход весны! С треском льда душа твоя просыпается. С пробуждением души — ты видишь, ты чувствуешь. В тебе начинают сливаться энергия звуков и энергия запахов, — ты чувствуешь, что ты живой! Сидишь на крыльце или стоишь у забора и слушаешь пенье скворца или рёв воды по оврагам. Это особый магический рёв — он бывает только ранней весной. Овраги, как трубы органа, начинают звучать.

Не надо спешить — надо почувствовать запах и звуки весны. Говоришь себе: «Не спеши, пожалуйста, не спеши...»

Брызги сока из первого стебелька колбы — это заключительная часть твоего созерцательного ритуала. А началом всегда бывает весна!

Мы с трепетом наблюдаем, как убегают белые пятки снега, как умолкает рёв воды в овраге, как начинает дышать земля, освободившаяся от снега, и как появляется первый зелёный цвет.

Первому походу за колбой предшествует длительное ожидание. Это можно сравнить с ритуалом японского чаепития: смысл не в выпитом чае, а в самой процедуре — в созревании, в предвкушении...

И мы точно так же созревали для первого похода за колбой — наблюдали за снегом, землёй, травой... И за кукушкой. Её голос будет сопровождать нас, отвечать на злободневный вопрос: «Кукушка, кукушка, сколько лет мне осталось жить?»

Она всякий раз отвечала...

Договариваемся вечером — где, когда и сколько нас. Решили отправиться втроем: мои подруги Анна и Шурка и я — трое детей из посёлка ссыльнопоселенцев. С собой берём стандартную пищу: бутылка воды, кусок хлеба и немного соли в коробочке. Форма одежды у нас летняя — босые ноги и поношенное платье.

Все в сборе — холщовые сумки на шее висят — для колбы и с запасом еды.

Путь предстоит не по ровной дороге — путь с препятствиями. Всегда рысцой, всегда полубегом, всегда пешком.

Надо спешить.

От нашего дома вдоль огородов бежим по самой кромке озера — старицы — до цыганской избушки и по бревёшкам переходим ручей, соединяющий старицу с речкой Иксой. За переходом согра[1], но красивая тропинка в согре быстро кончается, и нам надо перейти заболоченный, заросший высокой осокой

[1] Согра — болотистое место, покрытое кочками, редколесьем.

участок старицы. Выбираемся на поскотину с редкими деревцами боярки — это летний промысел, а сейчас путь наш вдоль Иксы до Варгатерского тракта. За трактом огромный овраг с крутыми откосами. Утопая в глине оврага, идём по одной стороне до размытого перехода через ручей на дне оврага. Как перебраться? Помогает опыт, накопленный за многие вёсны при переходах через многие ручьи. По другой стороне поднимаемся вверх. Наверху красивое место — земляничные поляны. И там растёт жёлтая земляника (очень ароматная и очень сладкая).

У подножья гривы, справа, — чистая, белая берёзовая роща.

Большая часть пути позади. Скоро заветное место. В углу между гривой и Иксой растут большие осины, в мочажинах[1], между корнями осин по кромкам растёт колба.

Радость охватывает нас при виде колбы. Прыгаем с корня на корень, пучок за пучком отправляем в свои мешки. Школьные холщовые сумки набиты колбой.

Пора отправляться в нашу любимую берёзовую рощу. Такой красивой берёзовой рощи я больше нигде не встречала! Там наши тела отдыхали, а души витали вместе с прядями берёз, мечты улетали... Только там можно было увидеть, как наше время безвозвратно летит, как мы взрослеем...

Мои мечты в берёзовой роще сбывались всегда, ведь для меня мечтой был план на будущий день.

* * *

Кто-то сказал: «В Мушкино растёт столько колбы — что хоть косой коси!» Такие хорошие мысли могли прийти в голову только после съеденных нескольких ароматных стебельков.

Сказано — сделано! Дружно встаём! Решено! Идём в Мушкино за колбой!

Мушкино с противоположной стороны от Подгорного, надо идти с ночёвкой. Значит, с ночёвкой! Около Мушкино большие поля, на которых выращивают рожь и овёс, поэтому есть стога и скирды соломы. Будет где переночевать.

Форма одежды у нас та же, что и всегда летом: босые ноги, поношенное платье.

Первая сочная колба вливает в меня силу, надежду и бодрость духа. Несколько стебельков, обмакнув в соль, отправляются в рот вместе с хлебом и глотком воды. После долгой зимы колба — подарок природы. Жгучий сок разливается по всему телу. Столь необходимые для жизни витаминные дозы взбодрили и зарядили на дальнейшие подвиги.

Предстоит пройти километров десять с препятствиями в виде обрывов, ручьёв, заболоченных стариц...

---

[1] Мочажина — влажное, заболоченное, топкое место между кочками на болоте, низменном лугу.

До центра села Подгорного дорогу мы знаем как свои пять пальцев, можем бежать с закрытыми глазами, — а что нас ждёт дальше? Говорят, вдалеке есть страшный обрыв с омутом, в который бросилась красивая девочка — наша подружка. А ближнее самое опасное место — обрыв горы Кулайки.

Пока светло, надо будет запомнить спуск с обрыва и заметить, где проходить по кромке воды, где обходить свежие свалившиеся глыбы глины и как потом подняться по склону.

Спускаемся в согру.

Справа, при выходе из согры, заросли жимолости. Осенью голубые кусты будут сплошь покрыты ягодой, но, пробегая мимо кустов, мы незрелые ягодки съедаем. При выходе из согры — мочажина, потом ручей. Заросший кустарником ручей впадает в Чаю. Через ручей надо перейти по накату огромных брёвен: ставя ногу на круглое бревно, другое бревно далеко, приходится делать широкий шаг или прыжок, — то и другое опасно. Место, где лошади ставят копыта, покрыто щепой и занозами.

После ручья крутой подъём на гриву.

Надо держаться всё время правой стороны, ближе к подножью гривы, чтобы пересечь большую излучину реки Чая, в пределах течения которой расположено районное село Подгорное.

Бежим по леспромхозовской улице через село — до Коломенского тракта. Мимо кузницы и папиной слесарной мастерской.

Дальше нам путь неизвестен. Знаем только направление — берег реки Чаи.

От гривы нас оттеснила ещё более мрачная согра.

Мы даже не заметили, что приблизились к самому загадочному месту, созданному для страшной сказки. Ошеломила чёрная туча птиц, пролетающая над нашими головами. Весь склон гривы был покрыт могучими деревьями, на каждой ветке дерева — огромное чёрное гнездо. Летящая чёрная туча оседала на гнёзда, и такая же чёрная туча отдалялась от гнёзд. Что это такое? Откуда их столько?

Вдоль берега реки неширокий старый причал для разгрузки и погрузки барж и подвод. Замшелые брёвна причала и высокого сооружения без окон и дверей произвели на нас жутковатое впечатление. Всё расположено у подножья гривы на берегу реки. Чая ударяясь в гриву, превращалась в омут, с высоким обрывом.

Ошеломлённые увиденным, поднялись на край обрыва. Чёрные тучи птиц продолжали курсировать, пролетая над нашими головами и над омутом, падая до самой воды, оседали на пристани элеватора. Круглый год для птиц здесь был корм: зерно, которое привозили на подводах и баржах.

Мы по очереди ложились на землю и по-пластунски подползали к кромке обрыва. Вот с этого обрыва наша сверстница, очень красивая, жизнерадостная девочка вместе с чёрной стаей птиц улетела в омут.

Дмитрий Рубашкин

Алёша Почемучка и Алёша Зачемка

Размышления пожилого человека о детях, детских книжках и детских вопросах

Детские вопросы

У каждого времени свои детские вопросы. Когда я был маленьким, считалось, что главный вопрос, на который приходится отвечать взрослым: «Почему?» Среди первых книжек, по которым учились читать мои сверстники, — «Что я видел» Бориса Житкова. Её главный герой — маленький мальчик, который не давал покоя окружающим, постоянно задавая один и тот же вопрос. Его так и прозвали: Алёша Почемучка.

В годы моего детства (да и в более поздние времена, когда книга переиздавалась) считалось, что, задавая бесконечные вопросы, дети познают окружающий мир. Что надо всячески поощрять природную любознательность, даже если она доставляет немало беспокойства взрослым. Пусть задают вопросы — это так полезно для развития.

Книга Житкова, написанная ещё в 1930-х годах, была задумана как своеобразная детская энциклопедия. Сегодня она воспринимается как литературный памятник своей эпохе (можно узнать, что такое пароход, колхоз, водокачка, Дворец пионеров), а имя её героя — дружно подтверждают Гугл с Яндексом — на рубеже веков превратилось в название песни «Алёша Почемучка» рок-группы с недетским названием «Оргазм Нострадамуса» [(1995—2003)]. Текст песни начинается с перечисления вопросов, которые могли бы прийти в голову её герою, повзрослевшему и живущему в другой реальности. А в финале этот поток вдруг заканчивается на совсем другой интонации:

Рубашкин Дмитрий Давидович — директор инновационного центра «Технологии современного образования» (https://ictso.ru/), кандидат технических наук, специалист в области проектирования информационно-управляющих систем. С 1992 года занимается инновационными проектами в сфере образования и культуры. Живёт в Санкт-Петербурге.

«Почему? Да почему? Почему? Да и зачем?» Это «зачем?» сразу всё меняет: на пути познания воздвигается барьер сомнения. Оказывается, многие вопросы (и ответы на них) в новой логике теряют смысл. В самом деле, стоит ли задавать вопросы, если ответы на них окажутся бесполезными?

Вернемся, однако, к детям. Возникает новая ситуация: если они перестанут спрашивать «почему?», насколько легче станет окружающим. Нет вопросов — не нужно отвечать... Но так не бывает, мальчикам и девочкам свойственно задавать вопросы. В тексте «Алёши Почемучки» бесчисленные «почему?» (видимо, остающиеся без ответа) порождают новый вопрос «зачем?». И это не просто художественный образ. Международные исследования подтвердили, что значительная часть детей на рубеже веков стала спрашивать «зачем?» гораздо чаще, чем «почему?». Если бы современный писатель решил посвятить книгу маленькому ребёнку, то его героя звали бы, вероятно, Алёша (Алекс?) Зачемка.

Так ли велика разница между Зачемкой и Почемучкой? Новый детский вопрос — иное отношение к окружающему миру. «Почему?» — это желание понять, узнать что-то новое и важное. А «зачем?» — это не про познание, а про мотивацию. Причем мотивацию внешнюю, а не внутреннюю потребность...

Всегда считалось, что детям свойственна любознательность, даже азарт в желании узнать что-то новое. А теперь оказывается, что дети сильно изменились. Любят только играть и развлекаться, а учиться не хотят. Нужно им что-то пообещать — иначе ни за что не согласятся. Но действительно ли пропал простодушный интерес к окружающему миру, который называли детским взглядом? Мне всё же хочется надеяться, что и сегодня они в глубине души Почемучки. Просто что-то случается, и Алёша становится Зачемкой. Надо бы разобраться, как это происходит. И по какой причине...

Детский вопрос «зачем?» возникает, когда ребёнок чего-то не хочет делать. То ли потому что трудно, то ли потому что не вовремя. Разные могут быть поводы, но есть общая черта: несогласие ребёнка с повесткой, предлагаемой взрослыми. Если предложение по вкусу, то вопроса этого не возникнет, и никакие дополнительные стимулы не потребуются. Дети ведь редко спрашивают, зачем нужно играть в компьютерные игры или смотреть забавные мультики. В подобных ситуациях вопрос о внешней мотивации как-то не возникает — внутренней вполне достаточно.

Принуждение к счастью

Всем нам приходилось наблюдать, как упирающегося ребёнка куда-то ведут, тянут за руку. Тот идти не хочет, пытается протестовать, но диалога не получается. Неужели взрослые что-то делают назло детям? Нет, конечно, всё

для их же блага. Просто так надо, — а дети этого не понимают и сопротивляются. Только что шли вместе, ребёнок ни о чем не беспокоился, не сомневался и не пытался искать смысл в своих действиях, — потому что доверял взрослому. Все было тихо-мирно — и вдруг спор, а потом и конфликт: крик, слезы, сопротивление. У взрослого есть программа действий, а ребёнок не готов следовать ей. Уговаривать, объяснять, что к чему, некогда, да объяснения и не всегда помогают, потому что проблема даже не в том, что ребёнок чего-то не знает или не понимает, а во внезапной утрате эмоционального контакта, согласия между старшим и младшим.

Взрослый недоумевает: что произошло? Пока всё было благополучно, он и не задумывался, почему ребёнок послушно следует за ним. По-другому не может быть: ребёнок слушается взрослого, подчиняется ему. Но потом у ребёнка может закончиться инерция отношений, основанная на уважении и доверии к родителям и другим взрослым, которые окружают малыша. И вот положительная энергия иссякла, её срочно нужно пополнить, иначе убеждения не помогут, придется прибегнуть к другим мерам...

Почему так случилось? Устал, голоден, чем-то обеспокоен... Или что-то привлекло внимание, хочется остановиться, а его тянут за руку: «Мы торопимся». Словом, разошлись представления взрослого (о том, что нужно) и ребёнка (о том, что хочется и чего не хочется). Как восстановить контакт, сказать нелегко. Никакие рецепты не могут быть признаны универсальными. Но одно представляется очевидным: чтобы вернуть доверие, надо хорошо понимать своего ведомого. Куда бы мы ни направлялись, без взаимного согласия на пути может возникнуть множество препятствий.

А теперь представьте себе, что дорога, по которой ребёнка тянут за руку, — это не городской тротуар или аллея парка, а тот отрезок жизненного пути, который называется «школьные годы». Настает время, когда родители отводят своего малыша в первый класс...

Что же дальше? В школе, мы все надеемся, работают люди, которые верят в своё призвание и любят детей. Они стремятся дать ученикам хорошее образование. Что означают слова «хорошее образование», мы здесь не будем уточнять; дети в этом не разбираются, взрослые — тоже не всегда. Скажем только, что у образовательного маршрута есть важная, но не очень близкая цель. А ещё есть временны*е* рамки. В них заключена школьная жизнь, взаимодействие тех, кто учит, и тех, кто учится. За соблюдение школьных правил отвечает учитель. Это от него зависит, чтобы все благополучно добрались до пункта назначения. Это он должен объяснить детям, куда они идут. И зачем... И проследить, чтобы шагали вперед дружно, никто не отставал. Если вдруг кто-то потеряется по дороге, не доберется до намеченной цели, с учителя же и спросят. У школьных педагогов нет и не может быть колебаний: учиться необходимо. Но как быть, если уверенность взрослого сталкивается с сомнениями ребёнка?

Попробуем встать на место учителя. Ему приходится вести с собой таких разных детей. Здоровых и не очень, быстрых и медленных, активных и замкнутых в себе. Кого-то подгонять, кого-то сдерживать. Да и маршрут, признаться, учитель не сам выбирает. Ему поручили привести своих подопечных туда, куда положено. А вот зачем к этой цели идти, лучше не спрашивать. Взрослые и не спрашивают, а вот дети осмелели... Особенно Зачемка!

В теории все знают, что детские вопросы нельзя оставлять без внимания. Но вот беда: взрослые ответы детям часто непонятны или просто не нравятся. Недавно у меня появилась возможность поговорить об этом с человеком, который учит будущих педагогов. И я поинтересовался: «Если бы ребёнок спросил, зачем нужно учиться, как бы вы ответили?» Мой собеседник посмотрел на меня очень серьезно: «Учиться нужно, чтобы быть счастливым!» Вот так: ни больше, ни меньше. Конечно, это не весь ответ, а только его начало. Представление о счастье у каждого своё, но суть в том, что цель учения находится не рядом с нами, а на дальнем горизонте. Мне-то эта мысль близка: так выстраивает жизненную стратегию взрослый человек, который не просто плывет по течению, а задумывается о смыслах. Но ведь нужен такой ответ, который мог бы понять и принять маленький человек — школьник, пока ещё не готовый к рассуждениям о горизонтах планирования. Чтобы пройти с ним в согласии хотя бы начало пути, нужно мысленно проложить траекторию от главной жизненной цели (быть счастливым) к исходной точке — туда, где и находится ребёнок, готовый в любой момент задать вопрос: «Зачем?» Эта, как сейчас принято говорить, «дорожная карта» должна представить цели не столь масштабные, зато близкие и достижимые.

Мы привыкли думать, что детям свойственно мечтать. Выбирать для себя красивый образ будущего и представлять себя во взрослой роли. А сегодня специалисты утверждают, что многие малыши не хотят становиться взрослыми. Им нравится детство, его хочется сохранить как можно дольше.

Когда уходит детство?

Самый близкий ребёнку человек, на время занятий заменяющий родителей, — учитель начальных классов. И вот он (а гораздо чаще — она) встречает малыша на пороге школы, чтобы вести вперед — по направлению к взрослой жизни. Хорошо ли им будет вместе? Как ребёнок относится к новому спутнику? Доверяет ли? Или, может быть, боится? Ведь пока ещё совершенно неизвестно, что его ждет в школе. Там же нет ни мамы, ни папы. А вдруг его будут обижать?

Конечно, опытный педагог эти страхи понимает и делает всё, чтобы наладить контакт с детьми. Его главная задача — предвидеть и заранее смягчить

Сергей Дмитренко

«Салтыкиада. Вятские картинки» Максима Наумова

К 200-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова (Щедрина)

Древний город Хлынов, который в российской истории известен как Вятка, сейчас называется по псевдонимной фамилии большевистского деятеля, который никогда здесь не бывал.

А обширный Вятский край, в императорские времена парадоксальным образом почти не знавший помещичьего крепостного права, был местом ссылки многих неблагонадёжных дворян и других вольномысленных подданных нашей прекрасной страны.

Один из них, так называемый «революционный демократ» Александр Иванович Герцен, ныне вполне подходящий под ранг иноагента, принял участие в создании городской библиотеки; другой — Михаил Евграфович Салтыков — укрепил здесь свою административную карьеру и одновременно набрался впечатлений для перехода на писательскую стезю.

Дом-музей Салтыкова-Щедрина в Кирове (Вятке) находится на улице Ленина (историческое название — Вознесенская). Известно, что сочинения Щедрина Ленин цитировал чаще, чем других писателей, так что проживавшему в годы служебной ссылки на Вознесенской Михаилу Евграфовичу от вождя пролетарской революции посредством его верных последователей и здесь прилетело.

Другой интересный вятско-кировский музей посвящён писателю Александру Грину, и располагается он на старейшей улице города, Никитской. Следует указать, что с этой улицей недавно произошло чудо. Сто с лишним лет носила она опять-таки псевдонимную фамилию также не имевшего никакого отношения к Вятке ещё одного большевистского смутьяна, Володарского (таких улиц уже в современной России насчитали более двухсот). И вот депутаты городской Думы восстановили историческую справедливость, а заодно и литературную: Саша Гриневский (будущий Грин) действительно провёл своё вятское детство на Никитской (а не на Володарской!) улице.

Не рискну утверждать, что именно Вятка побудила Салтыкова и Гриневского писать свои, на другие совсем не похожие сказочные истории, толкующие реальные загадки нашей родины. Но всё же не упустим из виду то, что именно в Вятском крае возникла, например, жизнерадостная, умонепостижимая дымковская игрушка, что здесь рос будущий обэриут, автор фантасмагорических «Столбцов» Николай Заболоцкий, что в Вятской гимназии учился дерзновенный штурман космических путешествий Константин Циолковский...

Может быть, всё же этот особенный вятский рельеф, это сосуществование оврагов, холмов и небесного простора, это невероятие жизни (среди дымковских фигурок есть удивительная кошка, бережно, словно человеческую душу, держащая в своих лапках птичку) побуждают — не только писателей! — увидев мир, в котором мы живём, попытаться объяснить его странности.

Да, не только писателей. В советском Кирове родился, а в исторической и современной Вятке живёт художник Максим Наумов. Сейчас это именитый мастер-наставник, директор Вятского художественного училища имени Аркадия Рылова. Ещё в молодые годы он, увлёкшись «Историей одного города», начал работу над проектом «Салтыкиада»...

Не скроешь: произведениям Михаила Евграфовича не очень везёт с иллюстраторами. Большинство из них не смогло перенять у этого гения мировой сатиры умение проникновенно-образно сказать о человеке, обществе, о взаимоотношениях народа и власти, управляемых и управителей. Внешне мастеровитые картинки остаются, по сути, карикатурами на российское самодержавие. Редко кому удаётся изобразить философскую многозначность словесных шедевров писателя. Хотя это не только необходимо, но и возможно. Так, из недавних удач назовём выпущенное петербургским издательством «Вита Нова» полное собрание сказок Салтыкова (Щедрина), в котором художник Владимир Мыслицкий смог достичь права на полноценное соавторство с писателем. Это удалось потому, что он изначально сумел преодолеть искушение исторической конкретикой, показать связь сказочной реальности, созданной Салтыковым, не только с мирами Рабле, Свифта, Гофмана, Андерсена, но и Босха, Микеланджело, Караваджо, Брейгеля, Гойи...

Максим Наумов вычитал в неисчерпаемом Салтыкове (Щедрине) своё.

Хочется расширить, сказав: *родное вятское*, недаром идущая сейчас, в ноябре 2026 года его московская выставка в Доме-музее Марины Цветаевой называется «Салтыкиада. Вятские картинки».

Начав свою «Салтыкиаду» ещё в 2016 году с установки в родном городе бюста писателя и памятной доски на здании бывших Присутственных мест, где располагалась губернская канцелярия — место службы Салтыкова. Максим Наумов также написал для театра кукол по мотивам биографии и произведений нашего нынешнего юбиляра фантасмагорическую комедию «Салтыкиада, или Как Салтыков Щедрина повстречал», а затем стал автором, художником и режиссёром анимационного фильма «Салтыкиада».

В Вятском художественном музее имени братьев В.М. и А.М. Васнецовых состоялась выставка «История одного города», где представлялись тридцать три живописных, двадцать одна графическая и пять скульптурных работ Наумова по мотивам салтыковских шедевров. А затем экспозиция эта ещё целый год ездила по разным выставочным площадкам Кировской области, собирая всюду множество зрителей. Добралась она и до Твери, тоже овеянной славой Салтыкова...

Стало очевидно: сохраняя *вятское*, местное, русское, Наумов образно раскрывает у писателя общечеловеческое, общезначимое. Не только настрой, но и способность таланта на сцепление разных точек зрения позволяет ему то живописно, то графически, — прочитать одну и ту же сказку, оторваться от укоренившихся традиций изоинтерпретации «Истории одного города»... Так, в 2023 году редакционно-издательский отдел Кировской областной научной библиотеки имени А.И. Герцена выпустил в альбомном формате «Историю одного города» с иллюстрациями Максима Наумова. Не отказавшись от отражения исторических аллюзий в чертах глуповских градоначальников, Наумов виртуозно, не нарушая художественных принципов прозы Салтыкова, в своих многофигурных композициях даёт читателям возможность развивать собственную систему ассоциаций, выходящих за пределы политической конъюнктуры в пространство свободных философско-исторических размышлений...

Но и после этого «Салтыкиада» продолжается. К двухсотлетию любимого писателя Наумов создал новую выставочную серию графики о жизни Михаила Салтыкова в Вятке, на основе которой снят анимационный сериал. Закономерно проект получает и книжное развитие: в издательстве «Наука» выйдет сборник сказок Салтыкова (Щедрина) с новыми иллюстрациями Максима Наумова.

Его творческую манеру однажды назвали «комплиментарным гротеском», и справедливый смысл такой характеристики видится в том, что даже работая с очень суровым материалом, Максим Владимирович сохраняет теплоту взгляда на мир и на человека в нём.

Впрочем, у читателей «Дружбы народов» есть счастливая возможность не просто *читать о художнике Максиме Наумове*, а видеть его труды. А затем — *перечитать Салтыкова (Щедрина)*.

ПОПРАВКА

На изовклейке номера 8/2026 журнала «Дружба народов» допущена досадная опечатка в имени автора текста. Приносим наши искренние извинения Олесе Игоревне Курдюмовой, заведующей отделом литературы по искусству Кировской ордена Почёта государственной универсальной областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, куратору культурно-просветительского выставочного проекта «Мир мари: традиции древнего российского народа».

МАКСИМ НАУМОВ
«Салтыкиада»



Для художника Максима Наумова именно книга и литература стали основой, главной темой творчества. В десять лет он уже оформлял кировскую областную газету для детей и родителей «Я расту», а в одиннадцать — проиллюстрировал поэтический сборник «День рождения» своей мамы, поэтессы Елены Наумовой. Мастер иронии и гротеска в живописи и графике, М. Наумов создал для масштабного художественно-просветительского проекта «Салтыкиада» не только живописные, графические и скульптурные работы, но и анимацию, аудио- и театральные постановки, выпустил набор открыток и подарочное издание «История одного города».

Марина Карпова



«История одного города», 2014
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«История одного города». Опись градоначальникам, 2014
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«История одного города». Органчик, 2015
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«История одного города». Поклонение Мамоне и покаяние, 2016
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«История одного города». Войны за просвещение, 2015
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«М.Е. Салтыков-Щедрин. 190 лет», 2016
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«Как Салтыков Щедрина в Крутогорске повстречал», 2016
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«Пошехонская старина», 2016
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«Господа Головлёвы», 2016
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«Сказки. Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», 2016
(Собрание Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых)
(х./а. 60х50)



«Карась-идеалист», 2026
(цв.бум./тушь 29х21*)*



«Премудрый пескарь», 2026
(цв.бум./тушь 29х21*)*



«Ворон-челобитчик» , 2026
(цв.бум./тушь 29х21*)*



«Чижиково горе», 2026
(цв.бум./тушь 29х21*)*



«Самоотверженный заяц», 2026
(цв.бум./тушь 29х21*)*

Владимир Курносенко

Письма внуку Роману

Прошло несколько лет, прежде чем утихла боль после ухода брата, не пускающая лишний раз заглянуть в архив: в письма, дневники, мемуары... И вот, кажется, настало время не только заняться наследием Владимира Курносенко, но и обнародовать уникальные материалы из личного архива, так называемые эго-документы. К счастью, практически все художественные и беллетристические тексты Владимира, за исключением нескольких незаконченных рассказов и последнего его романа —«Совлечение бытия», были напечатаны при жизни автора. Не был он обижен и вниманием авторитетных критиков: о нем писали Лев Аннинский, Андрей Немзер, Алла Марченко, Александр Неверов, Евгений Ермолин, Валентин Курбатов, Наталья Игрунова, Данила Давыдов, Ольга Лебёдушкина, Александр Шмаков; писатели Виктор Астафьев, Владимир Амлинский, Максим Замшев, Виктор Суглобов и др.

Что касается архива. Надеюсь в скором времени поделиться с читателями «Дружбы народов» фрагментами нашей с Владимиром переписки. Продолжалась она всю жизнь. Особенно содержательной, думаю, она стала в годы моего «литературного агентства». Уже не помню, когда точно Владимир попросил, а я приступила к обязанностям его литературного агента, т.е. стала связующим звеном между писателем, фактически анахоретом, и редакторами, критиками, издательствами, редакциями... Псковом и Москвой... Помню, что в середине 1990-х между этими городами я курсировала с рукописью «Евпатия».

У Владимира Владимировича был и есть внук — Роман Баранов. Имя Роман он получил, потому что родился в 1992 году, когда дед его работал над своим первым романом «Евпатий» (во второй редакции «И друг, и враг, и пир»). Так сложились семейные отношения, что общение у внука и деда началось и продолжилось на расстоянии — в переписке: Роман жил и взрастал в Челябинске, а Владимир с 2000 года вел уединённый, почти монашеский образ жизни в доме на окраине Пскова. Теперь Роман дипломированный журналист, практикующий сценарист и режиссёр, и судя по всему, ему таки передалась какая-то «хромосома» деда... Когда же мне было позволено и я прочитала письма Владимира внуку, сразу возникло желание ими поделиться...

И спасибо «Дружбе народов», журналу, который с 1999 года и до конца жизни печатал произведения Владимира Курносенко. Именно на его страницах увидели свет повести «Этюды в жанре хай бун», «Свете тихий», «Прекрасны лица спящих», «Жена монаха»; Ювенильная сюита «Неостающееся время»; рассказы «Рукавички», «Разлучение в Эдеме», «Путем ветра и облаков».

Нина ЛИТВАРЬ

Я виделся с дедом один раз. С той встречи есть совместная фотография: он держит меня на руках, я закутан в пелёнки. Конечно, я этого не запомнил.

Когда я учился в школе, я знал, что дед живет где-то далеко и что он писатель. Для челябинского школьника писателем может быть Пушкин или Толкиен, но как может быть писателем собственный дед? Это казалось странным.

Я не помню, кто написал первое письмо. Скорее всего, он, а я уже ответил на этот «вызов». В его письмах было много непонятного и даже наивного — ну, так казалось мне двенадцатилетнему: как можно не разбираться в компьютере? Не помню, вычерпнул ли я что-то тогда. Но хватило ума эти письма сохранить.

В какой-то момент наша переписка закончилась. К сожалению, мне, подростку, это просто наскучило, слишком много появилось новых забот. Но я думаю, он очень ждал моего письма. И от этой мысли у меня сжимается сердце.

У меня есть много вопросов к нему, но задавать уже некому: остались только книги — и вот эти самые письма. Я перечитываю их раз в два-три года, на новом жизненном витке: и каждый раз открываю что-то новое.

Интересно, как, обладая сложным характером и глубоким внутренним миром, он находил возможность переписываться с подростком на подростковом языке. Поэтому в письмах вы найдёте много забавного, за которым кроется серьёзное.

Роман БАРАНОВ

2004 год

Дорогой внук Рома,

более чем рад, что ты написал мне своё письмо, ибо внук ты у меня (пока) один-единственный, а беседовать куда интересней с людьми, ещё не шибко загрузившимися в общественное мнение, которое — ты, может быть, это заметил — всегда ошибочно, поскольку имеет смысл приспособления к выживанию, но не жизни. Что я считаю жизнью, я тебе как-нибудь попытаюсь объяснить в других письмах, если дело переписки пойдёт, а пока спасибо за доверие, за то, что хотел прислать мне «собственную книгу». Я бы был рад, если б ты её мне привез сам, поскольку ты уже, кажется, подрос и, к примеру, моя младшая дочь Аглая (твоя тетя) ездила в Москву гораздо в более, чем у тебя, молодые года. Тут мы её сажали на поезд, там встречали, а в купе договаривались с какой-нибудь хорошей женщиной, с проводницей, чтобы «проследили».

Но это так, для сведенья.

Хорошо, что учишься на гитаре. Я в своё время пытался, как и ты, на пианино, но кроме трёх известных аккордов дело как-то не пошло, хотя у меня были три-четыре песни собственного авторства и одну в нашей медицинской общаге даже пели.

Однако и это не главное, а только как бы отдушина. И научиться играть, конечно, не помешает, даже облегчит исход сердцу, когда оно окажется в волнении.

Стихи твои тоже прочел. Эх, и любил же я тоже в юности кинотеатр «Знамя»! Прямо как все из одной матрешки.

Хвалить тебя не буду, а то это во вред, но ещё раз выскажу свою радость. Прямо майский день и именины сердца...

Напиши мне, что ты читаешь и что бы хотел почитать.

Кузнечиков у нас тут вроде нет, но соловьи поют в кустах за моим огородом.

Твой дедушка Вова.

3 декабря 2004 года

Дорогой внук Рома,

отвечаю сразу и категорически.

Сейчас вынул твоё письмо из почтового ящика (он у нас на повороте дороги в группе других) и очень обрадовался.

<...>

Про «что читаешь» я тебя не зря спрашивал, ибо вопрос страшно важный. От этого зависит весь строй и настрой последующей жизни. Хорошей-то литературы совсем-совсем мало, и выходить на неё очень непросто. Если ты захочешь узнать моё мнение на сей счет, то скажи. Тем паче что пробуешь и сам работать со словом.

Про себя тебе могу сказать, что до «Войны и мира» Толстого я был один человек и читал «как все», а после — другой. И читал уже другую литературу.

Но и литература (художественная) — это ещё не все дело. Есть вещи серьёзнее и её. И об этом тоже мы можем письменно или устно поговорить, если пожелаешь.

(...)

Если нет возможности завести себе серьёзное животное (пока), что-нибудь вроде лошади или собаки, то советую купить себе черепаху. Она неприхотлива, но всё живая душа... С рыбками же много работы, которую у вас уж не знаю кто сумеет понести.

«...Когда жива священная черепаха — не растрачиваются человеческие чувства».

Не упомню уж и откуда сидит в голове строка.

Привет тебе от моих Басё (пса чау-чау) и Ду Фу (кота полусиама).

Есть у кого-то, кажется, у Сергея Михалкова строчка: «Письмецо от внука получил Федот...»

Мы попробовали её подключить к ситуации:

Письмецо от внука получил и я.
Сходу взволновалась вся моя семья.
Гавкнул баритоном верный пёс Басё:

«От меня... с поклоном...
Ну пока... и всё!»
Промяукал тихо умный кот Ду Фу:
«Передайте внуку от меня, что фу-
Что фундаментально радует он нас!»
Тут и исчерпался весь у нас запас.

Пиши!
Твой деда Вова

П.С. Извини, Ромала, за злоупотребление словом «серьёзн...».
Это я нечаянно — от серьёзности ситуации.

П.П.С. Привет — серьёзно — маме и папе!

8 апреля 2005 года

Так-с, Ром-ма!

(...)

То, что ты учишься в той же школе, на тех же лавочках, значит, сидишь или ещё после будешь сидеть... Это что-то потрясающее! Эта школа, Ромуальд (думаю, не обидишься, я это от любви), эта, брат, школа... Она сделала с моей жизнью совсем другое, чем было бы, думаю, без неё. Главным образом из-за ребят, лучшие были в городе, и из-за Владимира Абрамовича Караковского[1], который начинал с нас директорствовать тридцатичетырехлетним (или даже двух), а теперь в Москве народный академик и т.п. Он вёл у нас литературу, и я сразу из вялых середнячков вышел... ну в общем, полюбил литературу именно у него, хотя он был больше педагог, чем человек литературный...

Сколько тебе сейчас полных лет? Когда конкретно дата рождения? Ты мне напиши, а я тебе. Это всё не главное, но мало ли...

Я всё помню про твой вопрос, про что ты мог бы писать. И хорошо, что ты руками что-то такое искусное смог заделать, кровь не спрячешь. Это я про моего папу: он был супермастер руками во всём. Более всего — столяр и плотник, но мог собрать из ничего и мотоцикл, в отрочестве сам, для тренировки беглости пальцев, собрал пианино, которое было молчащим.

Он был слухач и пел лучше всех, кого я слышал. Где-то ближе Высоцкий, Шаляпин и ещё один парень из нашей школы Женя Рыбаков, который в том самом туалете на третьем этаже и пел первые песни Высоцкого, Киплинга и т.п. Лучшие минуты моей жизни!

Так вот, Ром, про литературу... Я в своё время сделал ошибку. Я чувствовал, что в пятнадцать лет писать прозу рано, что кроме глупости вряд ли что скажешь, и я себя «сдерживал», терпел ажно десять лет, пока не проработал год хирургом в районной больнице (первый же этот рассказ был потом напечатан через десять

[1] *Караковский В.А.* (1932—2015) — советский, российский педагог, Народный учитель СССР, директор школы № 1 им. Ф.Энгельса в Челябинске с 1963 по 1977 год.

Ольга Балла

Какая нам разлука предстоит

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Лето нашей осени. — М.: Время, 2026. — 640 с. — (Самое время!)

Может быть, когда эти записи только начинались, они и не помышляли быть книгой — были просто дневником, в котором автор — прозаик, эссеист, литературный и художественный критик Дмитрий Бавильский (1969—2026), каждое лето приезжая к родителям в Челябинск, писал, среди многого прочего, и о своих племянниках — детях его сестры, которых каждое же лето привозили к бабушке и дедушке из Израиля. Во всяком случае — с 2011-го, когда старшей девочке, Полине, исполнилось десять. Остальные герои родились позже: Данель, Даня — той же осенью, самый младший, Микаэль, Мика, — пять лет спустя. Очень разные характеры. Дмитрий записывал связанные с ними ежедневные события и попутные мысли, выкладывал в Живом Журнале в режиме реального времени и в формате как будто непосредственных (на самом деле — ух каких продуманных), почти устных, почти лично адресованных сообщений. Через тринадцать лет отобрал самое существенное и составил книгу.

Совершенно неожиданно для всех книга оказалась посмертной. К счастью, автор успел сам выстроить её — и готовой отдать в издательство, — то есть его замыслу она соответствует вполне. У Бавильского без замысла и умысла не бывало никогда и ничего — а неумышленности тем более: он умел устраивать так, чтобы она работала на некий проект и сам*о*й своей спонтанностью способствовала его выработке. То же и здесь.

Книга осталась дневником — даже даты расставлены. Но текст уже другой. И теперь, когда мы читаем его уже не теми глазами, которыми почти полтора десятилетия подряд следили за постами в Живом Журнале, ведущая его идея стала видна особенно отчетливо. Сам автор предпочитал называть свои рабочие идеи игрой (читай — действием с заданными условиями) — концепция была у него, может быть, ещё прежде начала этих записей и относилась, по большому счету, ко всему, что бы он ни писал.

«...Когда наблюдение непрерывно на протяжении хотя бы какого-то времени, интрига, складываясь из мелких наблюдений, обязательно складывается во что-нибудь достойное ума Агаты Кристи, большой любительницы замкнутых пространств и неформальных коллективов, в которых каждый персонаж может оказаться главным героем».

Это он — в первом приближении — и делал, поставив себе (как сам же признаётся в предисловии) изначальной целью рассмотрение «замкнутого пространства, в котором люди обречены друг на друга». Вышло гораздо шире.

Растущие дети, конечно, — в фокусе его внимания. Бавильский собирает книгу вокруг них — настолько, что их можно считать (но торопиться всё-таки не будем) ведущей её темой. Здесь много точных и подробных наблюдений за становлением маленьких героев, за переменами в их психологии и физиологии. Вот о девятимесячном Данельке — его сознание пока «медленно и плавно», он вообще ещё «живет только в соединении с другими людьми, пользуясь их умом,— обязательно глядя в глаза, так как именно так происходит встреча двух сознаний и перетекание одного сознания в другое». Ещё и отчетливого «я» как будто нет, но темперамент уже виден: «Он всё время несется (ползет, но так шустро, что кажется, будто несется), всё время в сторону, в углы, к телевизору, то есть туда, куда нельзя, куда не надо, так как развивается за счет новой, ещё не усвоенной информации, которую ему поставляет ещё неосвоенная территория». Стадия освоения речи самая ранняя: «...Пока Данелька знает мало слов (причем понятия, которыми он овладел, не слишком конкретны и включают в себя большие смысловые поля, куда, как в кисель, входит много даже не синонимических понятий, но, скажем, “слов”, относящихся к одному пространству) и в основном реагирует на интонацию и тембр», а «проявлений его личности, требующей к себе неусыпного внимания, постоянного присутствия, уже сейчас слишком много».

Тут много личного, трогательного — вплоть до фамильной памяти, семейных словечек — вроде «едодой, биби-каноны», «крокодира бомбордиры» («такие особенные животные, привязанные к неживому предмету, например, самолету, скидывающему сверху бомбы»), домашних суеверий и обрядов: «...Важно не завязывать слова на чепуху, а то нитка закончится: это так Даня с Микой обстебали семейный обычай нашей бытовой магии “связывать слова”, которые могут нанести вред. Важно, во-первых, не только сообщить собеседнику “я связываю твои слова”, но и, во-вторых, сделать баскетбольный жест рукой. Мол, слова эти выкидываются в связанном состоянии куда-то подальше», вообще разнообразного фольклора для узкого круга — вроде колыбельной, сочиненной для маленького Мики прямо на ходу, на прогулке: «...Вот серая машина, вот жёлтая машина, вот красная машина и ещё одна машина цвета мокрый асфальт...» — Мика с Даней будут помнить это долгие (в детстве они таковы особенно!) годы и петь, даже став уже подростками. И дядя-автор, услышав это, комментирует: «...Начинает казаться, что разлук не бывает, мы живем постоянно рядом, и разрывов в развитии нет: ведь песню мальцы вспоминают не чтобы сделать кому-то приятно. Просто она живет в них как вечный актуальный мем их собственного развития».

Отдельную интригу составляет и сам по себе транскультурный / мультикультурный сюжет: израильский ребенок в русской провинции, мировосприятие маленького человека в поле двух очень далеких друг от друга культур, двух накладывающихся друг на друга языков, формирование его мышления, речи, поведения в такой, во многом парадоксальной, ситуации, вообще самочувствие юного израильтянина в экзотичной для него русской жизни.

«Больше всего Дане нравятся убитые дороги нашего поселка — они ж для него прямой вызов и небольшой спорт.

— Какие у вас в России дороги интересные. — Даня даже заводит глаза от удовольствия, предвкушая ежедневные прогулки с препятствиями».

И далее: «Мы идем по шатающейся плитке, и всё это приводит Даню в восхищение: сколько скатов и неровных проездов, сколько ненужных ступеней у магазинов, захвативших первые, некогда жилые этажи.

— Как это сильно отличается от наших дорог, — говорит он. — С одной стороны, тут у вас словно бы совсем не заботятся о пешеходах, заставляя людей заниматься стихийным скалолазанием по горизонтальной поверхности, но, с другой стороны, какой простор для моих проездов на спортивном велосипеде!» (Какая речь, а! Двенадцать лет двуязычному человеку. Не всякий, ох, не всякий его русский ровесник так изъясняется.)

В принципе, всем этим вполне можно было бы и ограничиться, уже было бы интересно. И если вычитывать из книги именно прослеживание перемен, происходящих в растущем человеке при переходах от одной возрастной стадии к другой, тогда она встала бы в один ряд с такими проектами, как, скажем, начатый в 1989-м документальный телесериал Сергея Мирошниченко «Рождённые в СССР» (и его британский образец, «На семь лет старше» Майкла Эптеда), ещё более ранний проект «Контрольная для взрослых» (1978—1994) Светланы Волошиной и Игоря Шадхана или, допустим, фильм Никиты Михалкова «Анна от шести до восемнадцати» (1993). Почему-то всё телевизионные да кинематографические аналоги идут на ум, — и понятно, что книга Бавильского выбивается из этого ряда по той простой причине, что она — литература. Можно вспомнить и другие известные дневники о росте детей: скажем, «Дневник о развитии ребёнка (от рождения до восьми лет)» наблюдавшей за своим сыном психолога Натальи Менчинской (1948), «От первых слов до первого класса. Дневник научных наблюдений», тоже за собственным сыном, лингвиста Александра Гвоздева (1981). Но из этого ряда книга Бавильского тоже выбивается, и опять-таки потому, что она — в отличие и от «дневников научных наблюдений», и от простых «человеческих документов», — именно что литература. В этом смысле она немного ближе, предположим, к дневниковым записям о своих детях Льва Толстого (который, впрочем, отдельных систематических наблюдений им не посвящал), или, например, к книге «Наша Маша (Книга для родителей)» (1966) Алексея Еремеева, более известного как прозаик Л.Пантелеев, который систематически вёл записи о развитии дочери с рождения до пяти лет. Хотя сам Еремеев и предупреждал в начале своей книги, что она «писалась без всякого злого умысла, то есть без расчета на то, что когда-нибудь попадет в руки читателя. Записи делались для себя — для внутреннего, семейного употребления», — выдержки из этих записей всё-таки были изданы при его жизни, и стало очевидно, что это ещё и литературные наброски, заготовки, пусть даже и «для себя». Дневник Бавильского — не заготовки, а выстроенная книга, — и не для себя только, а для всех, то есть основной её предмет — общечеловеческое. Она имеет эстетическую ценность. Подобно художественной прозе в её классическом смысле, она моделирует характеры, ситуации, среду и, подобно эссеистике, осмысливает их.

Бавильский выстраивает речь. Он ищет именно эстетически точный язык для описания всего происходящего, чтобы возможно было эту жизнь видеть

и чувствовать. И тут корни его проекта восходят, пожалуй, с одной стороны, к самому Прусту, с другой — уже и к самому Монтеню (да, оба этих автора были очень важны для него, тут есть все основания говорить о сознательном ориентировании на них).

Одного детского развития как предмета анализа Бавильскому мало: удерживая растущих племянников в центре своего интереса, он нисколько не менее внимателен к обширной периферии этого центра.

Он говорит на самом деле обо всей фактуре жизни, о смыслах, подтекстах и обертонах, которыми переполнена повседневность, остающаяся обыкновенно в статусе фона, в области бокового зрения. О многоуровневом устройстве этой повседневности, о городе Челябинске, прежде всего прочего о его переполненных личными и общими смыслами окраинах, где живет он с родителями и растут маленькие израильтяне; о том, как все подробности этих окраин — вплоть до заброшенных рельсов, до сносимых кварталов, заросших дикой травой, — работают на взросление детей (а отчасти — и самих взрослых). Это ещё и дневник едва заметных, ежедневных, ежеминутных перемен в среде его обитания, тех микроскопических сдвигов, из которых со временем развиваются сдвиги тектонические.

«Гуляли с Данелем в коляске по поселку АМЗ; он от щербатых, неровных дорожек впал в медоточивый, со слюнкой, транс; прямо среди поселковой травы в человеческий рост, дурной крапивы, дурящей конопли, полыни, совсем уже очеловечившегося репейника. Я смотрю, как постоянно съеживается в поселке деревенская зона зелёного запустения с лопухами и железной дорогой, пущенной когда-то по краю; ничейная земля, год от года подъедаемая со всех сторон то одними, то другими, то третьими. Скоро от частнособственнической самобытности, куском застрявшей в черте города (“промышленного, научного и культурного центра”) ничего не останется. Даже на наш век не хватит. Уже теперь не хватает».

Некогда в частном разговоре, ещё при жизни Бавильского, мне случилось слышать реплику, что он делает литературу без больших идей, или даже так: большую литературу без больших идей (не помню точно). Но по крайней мере одна большая идея у него точно есть, и вот какая: ничего незначимого и бессмысленного нет. Это одна из важнейших его мыслей.

«У авторов автофикшн почему-то бытует мнение, что надо описывать экстремальные состояния и пограничные ситуации, когда река выходит из берегов или же кто-то сильно болеет. Видимо, есть особая доблесть пережить испытание, стать сильнее и поделиться опытом. Мол, мотивирует. Тем более что “простая повседневность” не имеет явных “информационных поводов”, когда не понимаешь, за что цепляться и как выражать. Между тем обыденное существование тоже способно быть интересным, раз уж оно не в безвоздушном пространстве проходит — на фоне социальных и общественных изменений». И вообще куда интереснее и плодотворнее «не придумывать, но писать о том, что лучше всего знаешь».

И книга, полная личной и фамильной памятью, тщательно собранной драгоценной, невозвратимой жизнью, «милыми мелочами», — лишь в своей основе «семейная сага в жанре автофикшн». Она перерастает это, она — (ещё и) исследование. Может быть, даже в первую очередь оно. Разве что — без (приличествующих исследованию) жестких выводов, но они и не нужны, куда важнее здесь сам процесс всматривания. Говорю же, без некоторой

исследовательской, экспериментаторской установки Бавильский вообще ничего не писал.

В своих записях он делает сложные, очень подробные и точные слепки с сознания нашего современника, человека русской культуры 2010—2020-х годов, создает внутренний портрет такого человека (на собственном, конечно, примере, но это очень яркий пример), с сохранением всех интонаций, всех характерных душевных движений. Показывает сам воздух, которым мы дышали в это время, — делает, как он когда-то говорил, воздух видимым; выявляет незаметное, вычленяет характерное.

Тут много бытовой психологии, даже этнографии. Бавильский описывает множество повседневных практик, условностей, ритуалов. Как, например, устроены в Челябинске поминки, на которых автор оказывается с одиннадцатилетней Полиной: выясняется, что есть обычай, согласно которому на поминках не едят вилками. Израильтянка Полина, подобно, кстати, и самому автору, «ничего не знает про русские народные обычаи, поэтому громко просит вилку, а мама ей говорит, как бы смущаясь и отводя глаза: — В этом доме нет вилок... И все вокруг с пониманием относятся к такой маленькой неправде, мол, ребенок же, да тем более заграничный, зачем ему наши заморочки, и не поймет ещё». При этом «очевидно, что все играют заранее предписанные роли» — и автор, занятый включенным наблюдением, тем отчетливее это видит, что, при всём понимании оправданности происходящего, ему самому «очень не хочется участвовать в театре с заранее определенным набором слов и масок».

С одной стороны, повествователь наблюдает всё это отчасти извне. С другой (а впрочем, пожалуй, с той же самой) — относится к наблюдаемому с внимательной нежностью. («Кровные мои», — говорит он о собравшихся на эти закованные в условности поминки родственниках.)

Эта *лирическая антропология* (с равно сильным акцентом на обе составляющие этого выражения: и на лирику, и на антропологию, но, пожалуй, на вторую всё-таки в несколько большей степени) — одновременно книга любви и понимания, нежности и анализа. Так, наверно, почти не бывает, — но Бавильский такое умел. В числе важнейших условий его «игр» всерьёз со своей работой и с реальностью — пересечение границы между разными жанрами, форматами высказывания, сближение далекого, сращивание разорванного. То же и здесь.

Теперь, когда у описанных событий уже не будет такого продолжения, которое могло бы стать нам известным, не отпускает мысль о том, что всё, в эту книгу вошедшее, написано на грани предстоящей, неотменимой разлуки. «У нашей встречи нет повода, кроме самой встречи, затем разлуки, венчающей эту встречу, и жизнью внутри». Но ведь никакого повода не надо.

Разлука и происходила каждый год, съезжались ведь не больше, чем «на пару-другую недель». Автор, кажется, и сам постоянно о ней думал. О ней, в самом начале авторского предисловия, и почти-эпиграф из Мандельштама (его, одного из важнейших для себя поэтов, а может быть, и важнейшего, встроенного в его собственное мышление, Бавильский цитировал постоянно) — «Кто может знать при слове “расставанье”,/ какая нам разлука предстоит...».

Тем дороже маленькие герои, меняющиеся от встречи к встрече. Тем острее взгляд.

И как отчаянно, как бесконечно жаль, что уже невозможно с ним всё это обсудить.

Евгений Абдуллаев

«Попёнок зовёт его тятей...»

Да, конечно. «Сказка о попе и работнике его Балде».

«Попадья Балдой не нахвалится,/ Поповна о Балде лишь и печалится,/ Попёнок зовёт его тятей...»

Мы знаем, чем закончилось (очень печально) все это для попа. А для остальных его домочадцев? Что делала, оставшись с мужем-инвалидом (у которого от третьего щелчка «вышибло ум») попадья? Кто после ухода Балды занял сердце поповны?

И, наконец, что стало с попёнком?

Вырос и — что? Пошел по стопам батюшки: отучился в семинарии, принял сан? Или, как многие поповичи того века, разуверился, ушел в мир, набрался идей и принялся щёлкать по «толоконным лбам» тех самых попов, из среды которых вышел?

Но сказка кончилась, не давая ответа; русская литература продолжалась, но к поповским детям оставалась всё так же холодна и нелюбопытна. Из поповичей были многие известные писатели: Чернышевский, Добролюбов, Помяловский... Но о своём взрослении в недрах церковной семьи они предпочитали не писать.

Поповичи в классической русской прозе встречались — но всегда мельком, где-то на третьих ролях. Вроде дьяконского сынка Петра в чеховском «Письме». Уход в неверие, в мирскую жизнь показаны извне, глазами других. А что было внутри?

Литературу это долго не интересовало.

Тысячи русских «попёнков» взрослели, проходили через духовную ломку, теряли веру, снова обретали её или уже нет, выясняли отношения с отцами... Но своего голоса в литературе не находили. Даже просто дети из верующих семей (верующих не просто «по старинке», а глубоко, как сейчас говорят, *воцерковленно*) главными героями не становились. Ни в литературе девятнадцатого века — начала двадцатого, ни тем более в советской.

Только из недавней книги Сергея Белякова о братьях Катаевых, «Два брата» (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2025), я узнал, что дед их был священником. А отец окончил семинарию и был глубоко верующим.

Как это отразилось в прозе обоих братьев? Если не считать пары мелких реминисценций у Валентина Катаева, — никак.

Хорошо, а в постсоветский период? Тоже, как ни странно, почти тишина. Хотя и писать о священниках стало можно. И взросление детей в семьях верующих далеко не всегда происходит гладко, а порой и довольно драматично... «Романа взросления» на этой делянке так и не возникло[1].

И вот появился «Попович» Сергея Шаргунова. Яркий, захватывающий, провокативный. О годе из жизни семнадцатилетнего (ближе к финалу — восемнадцатилетнего) Луки Артоболевского, сына московского священника. О его конфликте с отцом, о его сложных отношениях со сверстниками, его бегстве из семьи.

«...Новая книга Шаргунова — классический Bildungsroman, роман воспитания, — пишет Галина Юзефович[2], — показывающий взросление и становление юноши, его превращение из подростка в мужчину через неизбежные на этом пути нравственные кочки, ухабы и колдобины. Но одной этой магистральной прямой “Попович” не исчерпывается» («Кинопоиск», 26 мая 2026 г.).

Появился «Попович», конечно, не на пустом месте. Да, романов с главным героем из верующей семьи не было. Но были подступы к теме: у самого Шаргунова, в рассказе «Поповичи» («Новый мир», 2018, № 3), о коротком эпизоде детства детей из трех поповских семей и их последующих судеб. Что-то из рассказа даже перекочевало в роман.

«— Птица, — сказал он мягко и неуверенно. — Если она влетела — это разве не к смерти?

— Суя! — гулко прервал его Митрофан-проповедник и выдержал обличительную паузу. — Ты зачем сую несешь?

Оказалось, он имел в виду слово “суеверие”, которое сократил до этого неологизма».

А вот из романа:

«Тимоша подпрыгнул, и старый стул под ним скрипнул:

— Бабушка, это суя!

Все засмеялись».

---

[1] Не густо и в современной зарубежной литературе, если говорить о верхнем её сегменте. Можно, впрочем, назвать последний роман известного американского прозаика Рейнолдса Прайса «Хороший сын священника» (The Good Priest’s Son, 2005). О сложных отношениях героя с отцом-священником. Но это немного другое, это не роман взросления (герою Прайса за пятьдесят).

[2] Минюстом РФ признана иноагентом.

Присутствует в рассказе и один из возможных прототипов Луки — «попович» Петюня: «Можно было бы ждать от Петюни служения в церкви, но пошел вразнос, ушел из дома, играл в переходе на гитаре, которую однажды в порыве гнева сломал случайный прохожий, его отец».

Но главным прототипом Луки является сам автор. О том, что Шаргунов — сам «попович», сын известного церковного публициста, кажется, напоминать не нужно.

Кстати, за год до новомирской публикации «Поповичей» вышел любопытный нон-фикшн Марии Свешниковой с тем же заголовком, «Поповичи», и с подзаголовком «Дети священников о себе» (М.: «Никея», 2017). В книге есть и короткая реминисценция Сергея Шаргунова — о его детстве.

Возможно, книга Свешниковой натолкнула Шаргунова на замысел романа. Может, и нет: тема висела в воздухе. Тема детской и подростковой травмы, которая вошла в литературу с середины нулевых. В данном случае — о неизбежной травме, возникающей в зазоре между церковным миром семьи (и «семейным» миром церкви) и миром внешним, чаще безрелигиозным, порой безбожным.

«На самом деле дети священников, как правило, нервные люди, — замечает Шаргунов (в “Поповичах” Свешниковой). — Связано это не только с их родителями, а с особой атмосферой».

С этим можно не согласиться (мне известны и противоположные случаи) — но что-то ухвачено верно. И дело здесь не только в «атмосфере» верующих семей. Такие семьи — лишь наиболее яркий (хотя и более закрытый для внешнего взгляда) случай того, что происходит сегодня с семьей вообще.

Семья как социальный, даже шире — социоантропологический институт — всегда, с начала эпохи модерна, проходила через периоды кризиса. Обострение межпоколенческих конфликтов, влияние алкоголизма, перераспределение гендерных ролей... И все же нынешний кризис ставит под вопрос не какую-то сторону семейных отношений, а всю семью как институт. Я уже как-то цитировал в одном из «барометров» высказывание Евгении Некрасовой (сайт «Год литературы», 19 июля 2021 г.); процитирую еще раз: «Отношения внутри семьи стали быстро и необратимо меняться, потому что все традиционные модели оказались сметены <...> Люди в семье могут быть партнерами, семьей человека могут быть его друзья, могут быть родители — кровные или нет. В конце концов, человек сам может быть себе семьей. И остановить этот процесс эмансипации <...> невозможно!»

Семья, естественно, сопротивляется. Особенно в наиболее традиционно-консервативных своих формах; а священнические или «воцерковленные» семьи именно таковы. Пытаются, более или менее полно, замкнуться, защитить себя от этой аннигиляции. И главное — детей. Спрятать в себе, в своем теплом нутре; оградить их от ледяного и ядовитого сквозняка постмодерности.

Можно вспомнить и более ранние примеры. Скажем, Доминико из «Ностальгии» Тарковского, который семь лет держал жену и маленького сына взаперти, чтобы спасти их от конца света.

Или вот, во второй книге своих воспоминаний, «Жизнь Дениса Кораблёва: филфак и вокруг» (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2026), Денис Драгунский рассказывает о дочери известного писателя Л.Пантелеева. Писатель, как и Доменико, пытался оградить её от мира, воспитав в собственноручно созданном домашнем моральном заповеднике.

«...Эта девушка в бордовом шерстяном платье, тёмно-бежевых чулках, туфлях-лодочках, гладко причесанная, с пучком на затылке — она была как будто маленькой чопорной дамой, или старинной институткой, “смолянкой”, или даже монастырской послушницей — а на самом деле смесью того, другого и третьего. <...> Несчастный объект ужасающего эксперимента, который проделал над своим ребенком этот умный, образованный, талантливый и, как потом выяснилось, истово верующий человек».

Итог этого эксперимента действительно был печален. «Бедная Маша провела остаток жизни в доме скорби».

Нет, в семье Артоболевских подобных «экспериментов» над детьми — Лукой и его младшим братом Тимошей — не проводят. Но что-то очень близкое. Лука до тринадцати лет на домашнем обучении. Никакого детского сада. «“Там одни инфекции”, — мама была неумолима». Игры только с детьми священников в церковном дворе. Никакой школы.

«То, что он не ходит в школу, мама объясняла всё той же угрозой заразы. “Если бы только физической”, — добавлял папа. “Я ему сохраняю детство”, — гордо заявляла она на все расспросы».

Потом — в виде большой уступки родителей — православная гимназия, с седьмого касса. И лишь затем — обычная школа, лицей.

В результате такого «оберегания от заразы» в герое назревает бунт. А тут ещё первая влюбленность, гормональные бури и появление в семье Артоболевских иеромонаха Авеля — «бунтаря в рясе» (возможно, отголосок дружбы Шаргунова с Лимоновым[1]).

[1] По крайней мере, сцена, когда Авель исповедует Луку, вызывает в памяти отрывок из воспоминаний Шаргунова о Лимонове. «”Сергей, — сказал он, сидя напротив за столом и, кажется, несколько смущенно подсмеиваясь, — можете поисповедоваться мне сейчас. Поисповедуйтесь. Не беспокойтесь, все тайны унесу в могилу...” Повисла пауза, я энергично замахал руками, показывая на потолок, мол, у вас же прослушка, какие тут откровения... А теперь жалею, проигрываю сценарий неслучившегося» (Сайт журнала «Правила жизни», 22 февраля 2023 г.). Впрочем, в отличие от Лимонова, Авель в «Поповиче» — бунтарь не артистичный, а тёмный и недобрый.

Бунт выталкивает Луку сначала из церкви, потом — из семьи, потом уже и из Москвы. Гонит его вначале на юга, к отцу Авелю (который оказывается «ряженым»), затем в Забайкалье, к другому священнику, уже «настоящему», отцу Демьяну...

Да, современная притча о блудном сыне (на что уже успели обратить внимание рецензенты). Но Лука не просто уходит от отца — он, собственно, ищет *другого* отца. Такого, который бы понял его. Не проповедовал, не исповедовал, не пытался оградить от «духовных инфекций», а именно *понял*. Ищет его в отце Авеле. Ищет в отце Демьяне. Иначе говоря, внутри церкви, разных ее измерений и ипостасей. В итоге... Впрочем, не буду, как сейчас говорят, спойлить.

Роман, при всей своей закольцованности, завершается многоточием. Бунт завершен, но прежняя детская вера не обретена — её и нельзя снова обрести. Всё уже не будет для героя прежним. Лука остается где-то на зыбкой границе; и эта граница совпадает и с «пограничным» для всей страны 2014 годом. После которого прежним тоже уже ничего не будет.

Возможно, Лука вернется в церковную жизнь. Возможно, снова забунтует и окончательно оставит её. Или же будет, как герой рассказа «Поповичи», едущий на похороны одного из товарищей по играм (из священнической семьи), то удаляться, то снова приближаться...

«Может быть, я ехал как блудный сын, чтобы припасть к таким же или не таким же, малознакомым и непередаваемо своим, и попытаться утолить сиротство, годами гнавшее меня все дальше и дальше улицами и переулками за теплым порогом церковного детства?»

Вопрос. Многоточие...

Борис Минаев

Мойры и мы

В последний раз я смотрел кукольный спектакль довольно давно — это были постановки Резо Габриадзе: «Рамона», «Сталинград» и «Осень моей весны».

Впечатление было глубокое — марионетки Габриадзе, «играли» они людей или животных, обладали воистину огромным актёрским талантом, ты над ними плакал или смеялся, и то и другое вместе, а порой в пронзительной тишине зала возникали настолько сильные эмоции, что хотелось закричать: но ведь это же куклы! ну как это возможно!

Это был легендарный театр (я и в Тбилиси тоже сходил на спектакль Театра марионеток), — и казалось тогда, что ничего подобного я уже больше не увижу.

Да что там говорить...

Но вот прошло время.

Я пришел в Московский театр кукол (сцена в Пестовском переулке, возле Таганской площади), на спектакль «Мойры Петроградского района». Странное название: ведь мойры в древнегреческой мифологии — это богини судьбы, они обрезают нить человеческой жизни, принося смерть, зачем же вдруг детям такое показывать (хотя и 12+)?

Дети тут действительно были — в основном девочки 12-15 лет, пара мальчиков, то есть, скорее, были подростки, с мамами и тётями, завороженно и напряженно смотревшие на маленькую сцену.

Куклы — «перчаточные», но не обычные, а перевернутые, с ногами-пальцами — в обычных «перчаточных» постановках они скачут над ширмами, на руках исполнителей, а здесь — ходят и бегают, скачут и исчезают внутри настольных декораций, которые устанавливаются прямо перед нами, образуя живое пространство города: дома с окошками, «горбатый мост», железная ограда, снег...

Много бутафорского снега из пластмассового ведра. Фонари. Маленький, но почти настоящий Питер.

Пьеса Константина Фёдорова гипнотизирует своей парадоксальной простотой. Мойры забывают запереть свой домик на Петроградской стороне,

впуская сумасшедшую белку — и нити людских судеб перепутываются. Вот эти перепутанные судьбы и образуют сюжет. Потом мойры теряют ножницы — и в результате «нити судьбы» начинает перерезать злой Парикмахер, их подобравший на горбатом мосту, в жуткий снегопад и непогоду, а он почему-то ненавидит всех убогих, бедных, нищих. Он желает им скорой смерти. Сами мойры, которых древнегреческие боги сюда прислали ещё в блокаду, страшно устали от своей тяжелой службы и хотят на отдых.

Но ведь нужно же всё исправить!

«Индивидуальный предприниматель» Вадим из-за этих потерянных ножниц чудом остается жить после аварии — случайно знакомится с детдомовцем-аутистом и вдруг решает его усыновить.

Сергей Аркадьевич, больной старик, и найденная им собака Вова, спасающая его от тоски и умирания. А он пытается спасти её...

И всё это возникает буквально из ничего, из пальцев, надетых на разноцветные перчатки и из нашей фантазии.

Всё странно, всё невероятно, и всё, по правде говоря, безумно — с точки зрения нашей плоской, логичной реальности. Но вдруг ты ловишь себя на мысли, что это как раз наша реальность безумна — а то, что происходит здесь, вполне оправданно.

Оправдано логикой кукольного театра — всегда магического.

И декорации, и диалоги, и сюжет старательно подчеркивают то, что дело происходит именно в Петербурге, даже макеты зданий тут старательно скопированы с настоящих, — в этом городе, с его удивительной атмосферой и людьми, и не такое может произойти.

«По улице идет человек, размахивает руками и разговаривает сам с собой, словом, это обычный петербургский житель».

Ну да. Именно так. Хотя я-то живу в Москве, откуда мне знать? Но я верю. Верю абсолютно, на двести процентов.

Спектакль, уже номинировавшийся на все возможные премии, вроде бы отчаянно несовременен. Нет в нём вирусов, катастроф, наводнений, военных действий. Нет ощущения надвинувшейся на всех беды.

Он о разных людях, чьи реальности сплелись в какой-то странный, прихотливый рисунок. О мире, который изначально добр. Но странным образом именно его «несвоевременность» делает его острым и сегодняшним — это тот мир, который *должен* быть. Это тот мир, в который мы все верим с детства. Мир уютный, и даже если в нем кому-то очень плохо — его спасут, он не будет брошен. Он лишь потерялся, как пёс Вова, или мальчик-аутист Витя, и то ненадолго.

Таким сделали этот зимний Петербург создатели спектакля (режиссёр и художник Александра Ловянникова и композитор Андрей Занога), и, конечно, замечательные актёры: Анастасия Игнатенко, Марина Романова, Наталья Третьяк,

Николай Воронов. В полумраке сцены, где ярко освещены лишь куклы и домики Петроградской стороны, их почти не видно — тёмные костюмы, почти закрытые светотенью лица, голоса. Руки волшебников, создающие мир.

Спектакль при этом совсем не одномерный и не линейный. Вот мойры (Клото, Лахесис, Антропа, все родом из Гомера) — хорошие они или нет? Ну как сказать — они же перерезают нити, заканчивают жизни, — кто они вообще такие? Кто дал им право распоряжаться нами? Вот индивидуальный предприниматель Вадим Игоревич — человек вроде бы очень добрый, совестливый, по крайней мере, уж точно не злой, но встретив его на улице, почти нищий, с трудом передвигающийся от голода старик Сергей Аркадьевич спрашивает: это вообще человек или «менеджер какой-то»? Он богат, обеспечен, а другие-то — совсем нет. Виноват ли он в этом? Вот мальчик-аутист, над которым в детском доме все смеются, и готовы его побить, ущипнуть, а он, в общем-то, почти гениален — и Гомера (которого ему в авоське принес Вадим Игоревич) прочитает за ночь, и любую сложную формулу выведет — но может ли он сделать семейную пару, которая хочет его усыновить, счастливой? Или жизнь с ним станет сплошным испытанием? Простых ответов нет.

И не может быть.

Я смотрю на пришедших сюда, в этот крошечный волшебный зал кукольного театра, подростков и думаю о том, понятен ли им этот язык условного, старомодного или, верней, совсем уж первоначального, древнего театра? Они выросли на высококлассной анимации, её сейчас много, она очень разная — но тут другое, хотя вроде бы из кукольного театра, из кукол, анимация как раз и родилась. Да и вообще, по возрасту им уже как минимум «Гарри Поттера» смотреть, «Властелина колец», «Человека-паука», почти взрослые любовные комедии... А тут — перчаточные куклы.

Сложная задача. Но я вслушивался в тишину, и казалось — да, у них, у создателей спектакля, получилось.

Ну а что касается меня...

Не знаю, что уж такое со мной происходит, но с некоторых пор очень-очень хочется, чтобы у любой истории — на сцене, на экране — был хороший конец. Чтобы были «отрицательные» и «положительные». И чтобы последние всегда побеждали. Ничего не могу с собой поделать.

На «Мойрах...» поймал себя и на другом, новом чувстве.

В последнее время мы уговариваем себя, что «скоро должно стать лучше», что будет поворот к «нормализации», мы ищем этот поворот в новостях, в расположении звезд, в прогнозах. Но кажется порой, что унылая глухая реальность беспросветна.

Здесь, в кукольном театре, я настолько поверил в эту странную, снежную, запутавшуюся реальность Петроградской стороны — что и сам с надеждой

смотрел на смешных рыжих мойр, на тёмные руки актёров в разнообразных перчатках.

Ну кто-то же должен присматривать за нами, за человечеством? Кто-то же может нас спасти?

Верней, кто-то же должен...

Над этой реальностью должна же быть какая-то другая?

Высшие силы, мировой разум, или скорее, мировой смысл. Ведь не может же всё это оказаться бессмысленным?

Помню, как мы искали в Тбилиси маленький «Театр марионеток», ходили по центру, рассматривали иногда покосившиеся от времени, но такие потрясающие тбилисские дома.

Наконец, нашли знаменитую башню, к которой приходят люди в определенный час, чтобы посмотреть на хоровод волшебных кукол, и потом вошли в зал.

Спектакль «Осень моей весны» был о тяжёлом времени. Он погружал нас в реальность послевоенного Кутаиси, родного города Резо: «во время войны погибло 340 тысяч грузин, -- говорил он в одном из интервью, -- город был наполнен женщинами в чёрных одеждах, вдовами».

Но история о маленькой птичке, о её любви, об освобождении от тяжкого бремени долгов и несчастий, о танцах и песнях вопреки всему — она была и впрямь какая-то освобождающая.

Она незаметно и мощно раздвигала границы реальности. И ты понимал, что за нами всё-таки кто-то присматривает.

Мойры, боги, какой-то большой человек, на многочисленных пальцах которого — все мы.

Габриадзе не стало в двадцать первом году.

Я помню, какой был ажиотаж на его спектаклях в Москве, как люди любые деньги готовы были отдать, какая была громкая, яркая слава у его марионеток. Всё это в прошлом.

Но в этом маленьком зале на Пестовском мне показалось, что дух Габриадзе витает где-то здесь. Что он сидит рядом с этими девочками-подростками и улыбается.

Summary

Friendship For Growth

"I must read only children's books"

In this rubric titled after Mandelshtam's line (translated by Albert C. Todd) Efrosinya Kapustina and Sergej Shargunov, Natalya Ivanova and Vasilij Natzentov, Alexander Lyusij and Andrej Permyakov, Alexander Nilin and Irina Chudnova, Mikhail Pavlovetz and Anna Luzhbina are remembering the main books of their childhood.

Elena Bodrova. That Very Parcel with the Dreams

This novella is an urban fairy tale about some angels sent to the Earth for rehabilitation. Unversed in earthly life the angels keep getting into troubles and if it weren't for the teenager Olga... It's a tale about the wonder of the first love which doesn't happen on demand and about that the future one dreams about at fifteen must be worked for already now.

Also in the "Prose" section of this issue: a piercing short story of Roman Senchin "To the Homeland"; a tender story of the first love told by Irina Krayeva; the experience of growing up of a Vietnamese girl by name Russia "whose soul was Russian, suffering, Dostoevskian" from Arina Obuh's short story.

Poetry

An enthusiastic hymn to Alexander Pushkin who "is our everything", opens the collection of poems of the young poet Alina Mitrofanova.

The new poems of the cycle "On Russian Poets" by Konstantin Komarov include the gallery of portraits: Boris Pasternak, Nickolay Zabolotskij, Alexej Reshetov and Boris Rihzij.

Chldren's verlibras for the adults by Liliya Gazizova "And I've Become a Cloud" remind "the volatile, tending for a smile prose" (by the words of Alexej Alyokhin).

The theme of the philosophical poetry of Ivan Makarov – the events of today in which the poet notices the interplay with the Bible Psalm "By the rivers of Babylon".

Director of the Innovation Center "Modern Educational Technologies" Dmitrij Rubashkin states: "Each time has its own children's questions... International researches proved that at the turn of the century a substantial part of children began to ask *what for* more often than *why*" and suggests his version of the reasons and probable consequences of the fact.

Under the heading "The Cultural Code" we are publishing some letters of the well-known late prosaist Vladimir Kurnosenko to his grandson Roman.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
http://дружбанародов.com

Журнал продаётся в магазине **«Фаланстер»**
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Главный редактор: Амелин М.А.
Корректура: Елена Лапшина
Дизайн обложки: Степан Лукьянов
Учредитель — ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М.Горького»
Министерства культуры Российской Федерации
Издатель — АНО Редакция журнала «Дружба народов»
Юридический адрес: 115172, г.Москва, ул.Гвоздева, д.7/4, стр.1, кв.88.
Почтовый адрес: 117218, г.Москва, ул.Кржижановского, д.13, корп.2, оф. 110.
Электронная почта: dn52@mail.ru. Телефон редакции (499)5190212.
Сайт журнала: дружбанародов.com
Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Эл № ФС77-51026 от 03.10.1912.

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ


ДРУЖБА НАРОДОВ
ДРУЖБА НАРОДОВ
АЛЬМАНАХ
ДРУЖБА НАРОДОВ 12
ДРУЖБА НАРОДОВ 12 1968
ДРУЖБА НАРОДОВ 12
ДРУЖБА НАРОДОВ 12
ДРУЖБА НАРОДОВ 86
ДРУЖБА НАРОДОВ
1
1939
ДРУЖБА НАРОДОВ
Дружба народов
11/2026

Цена свободная Индекс 70250

ДН 11/2026

Золотые страницы «ДН»

Александр Ревич

(1921–2012)

Чаша

Мог бы совсем не родиться,
мог бы… Но слава Творцу!
Вспомнишь забытые лица —
слёзы текут по лицу.
Снежное утро рожденья —
твой незапамятный мир,
тот, где чадили поленья
в печках озябших квартир.
Страху в глаза и отваге
острой крупою мело,
бились кровавые флаги
с белой пургою в стекло.
Снова пространство в сугробах,
вьюга и выстрелы в лоб,
и на холмах крутолобых
ноги вмерзают в окоп.
Всё это было когда-то
и остаётся вовек:
чёрные строки штрафбата
в белый впечатаны снег.
Жизнь завершается наша
зимней атакой во сне.
Выпита полная чаша,
самая малость на дне.

ISSN 0012-6756 Дружба народов • 2026 • №11 • 1—256